Среди земли

Первая книга стихов. Избранное до 2015 года

I [элементы]

Марко Поло, I

Ткань светлейших утр и стройное железо
путник вспомнит в вековых песках,
нежность ли в упругой силе лезвий,
в кружевных мира́жах отыскав.

Или, навсегда утратив торопливость,
в вековых песках он будет петь,
ибо там жива господня милость
и водворена земная твердь.

В тихий сумрак погружаясь неуклонно,
брошенный ничком, рождённый вспять,
ради льва и не убив дракона,
он себя заставит понимать

свой мышиный шёпот в меховой гортани —
ужас мнимой близости вещей,
даже тех, что зыбкими чертами
вопиют о мнимости своей.

+++

Полночный путь звездой разъят.
На камни падает, звеня,
на крыше слышится возня
полночных звёзд, немых котят.

Немых камней покорный путь,
горчит миндалью чёрный круг,
звездою падает на грудь,
рудою рвётся в твердь из рук.

Полночный двуединый рост,
просторный путь, разрыв пород:
немых камней в разъёме звёзд,
нагих корней, влачащих плод, —

взрывает стеблем тяжесть руд.
Роднится с полночью разлад
миндальных звёзд, немых котят,
как с камнем песни скорбный труд.

И каменной зарёй залит
разъятый двуединый свод,
но корень рвётся вглубь земли
и стебель рвёт.

+++

Если реки полусонны —
это слепни на руках,
значит, время неуклонно,
или снится синий цвет.

Если белый — это речи
наугад ночной травы,
ибо стать нам больше нечем,
а таких и вовсе нет.

+++

Затем отверстая вода
в привычной веточке коленной,
гимнософистка и вдова,
лучом и голосом колеблема;

и в ней затем отражена
небес — её недомоганья —
достигнутая тишина,
как Командора трепет каменный;

что свет на холостом ходу,
косноязычный, человечий, —
лишь в промежутках, как в бреду,
со мною только опрометчив;

что свет, и сфер послушный свет,
на холостом ходу поющих,
со мною — только ранний бред
о свете света не имущих.

+++

Мы летели во все стороны,
лёгкой музыки полны.
В небе реяли, как вороны,
раздвижные валуны.

Или время в небе реяло,
мы летели кто куда.
Нам судьба себя доверила,
раздвижная, как вода.

Или небо в небе спорило
с лёгкой косточкой внутри.
Мы летели во все стороны,
преисполнены зари.

Мы спешили, но, как водится,
долетели уж без нас.
Пресвятая богородица!
Как-нибудь в другой раз.

+++

Где поутру раздаются никому не известные трели
и недоступен свет, что твоя роковая игла,
я молча стою, если дело идёт к апрелю,
с томиком Сведенборга и в мыслях о пользе стекла.

Потому что всё для людей, и я не знаю иного,
если дело идёт к апрелю, или наоборот.
В то же время я прорастаю из собственного слова,
а во мне моя смерть, как горчичное зёрнышко, растёт.

Судьбоносной иглой размечая по карте пространство,
бесполезный свет становится доступней вдвойне.
Всё для людей: стекло, небеса и транспорт,
на котором уеду, и будет сладостно мне.

+++

Тихо. Вечер. Сонные струи́
растеклись по дереву и стынут.
Мы уже не встанем со скамьи;
нас, возможно, навзничь опрокинут.

Нас, возможно, небо от стыда,
небо, дорожащее приливом,
соберёт в великие стада —
так что хоть сейчас же будь счастливым.

Гипербореальная краса!
Ветерок фракийского извода!
Мы с тобою будем, так сказать,
будем частью Бога / Природы.

Это ничего, что мы с тобой
будем частью и сольёмся с целым.
Это небо, рвущееся в бой,
говорит язы́ком чёрно-белым.

+++

Летая беспросветной ночью
и беспросветным ранним утром,
я вижу истину воочью,
однако убеждён в обратном.
Как яблоко в часы досуга,
залогом праздного спокойства
она, не выходя из круга,
приобретает эти свойства.
И постепенно удаляясь,
залогом таинства двойного,
и вновь к чему-то приближаясь,
уже имеет в виде слова.
А чтобы яблоко хрустело,
что соответствует обряду,
она ему подыщет тело,
как, собственно, ему и надо.

Элементы

Мы станем вспоминать приветную весну,
какой она была, каков у ней наряд.
И горького вина пресветлую волну —
его чудовищный, чуть призрачный наряд.

Когда мы были здесь, уже была весна,
была такой, как есть, — нарядною вполне,
едва вещественной, как зреют небеса,
как они светятся, покоясь на волне,

но суть её в ином. Нам надо вспоминать,
в чём суть её лежит, таится где она.
Горчит её наряд, но надо понимать,
что здесь уже была приветная весна,

когда мы были здесь. Созрели небеса,
вполне вещественны, хотя не без труда,
покоясь на волне, такой, как ты еси,
но надо понимать, хотя не без труда.

+++

Приметы милые полночным стёрты снегом
П. Валери

Среди моих сестёр и тех, кто с ними,
  С шенгенской визою в уме,
Ты падаешь ночами пресвятыми.
Мы зрим, как сонаправлены зиме
Разнонаправленные очертанья.
Приметы милые, труды и дни
  Вдруг стали стёрты. Где они?
Среди людей и тех, кто рядом с ними
    В часы всеотрицанья,
В небесном граде Иерусалиме
Ты падаешь, стирая наш удел,
  Его прекрасные приметы,
Не зная, где положен им предел
И что собою знаменует это.

Ничего

В. М.

Видимый вооружённым глазом,
ты на гибельной версте,
мысля, как заведено, о разном
в плане осмысленья. Вместе с тем,
в сущности лишённый основанья,
словно дух, мещанской над волной
ты висишь, себя во избежанье,
план лелея, в сущности, иной
для людей Земли, как повелось,
без руля, ветрил и колебанья —
в сущности, без ничего. Без слёз.
Ничего! Всё сбудется без промедленья.

+++

Как исправляется дух на последнем шагу,
многоочитое стелется тёмное пламя,
высшее, как таковое, в легчайшем снегу,
доброй прародины нашей беспечное знамя.

Как оно пело во славу исправленных строк,
словно запретная жизнь возвратилась из сада.
И пролетал по лесам и горам говорок,
и тосковала ничейная в поле отрада.

+++

В случае больших мероприятий —
хочешь деньги? хочешь в гости? —
это — сахар попугайский замечательный,
это — неплательщик злостный.

Да в сплошном калейдоскопе огнестрельном
я дышу вполоборота.
Хочешь мой портрет на лотерейном
бланке, где не это только?

Вспомнить силюсь, как заоблачный Тургенев
говорил предельно искренно:
«Разоблачена моя Психея…
Вертоград переосмыслен…»

И, всем телом растекаяся по древу —
хочешь древа? хочешь чаю? —
мне бы лишь пол-яблока на веру,
невозможного, случайного.

Ода природе

Тебя повсюду видя потому что,
хочу, чтоб, словом, песня, вопреки
себе, сама слагалася без нужды,
как ты нас учишь, стоя посреди.

Ты нравишься мобильностью своей,
ликвидностью, которою, к примеру,
мы живы, впрочем так же, как и все,
по направленью к общему пробелу.

А во-вторых, твоё подъемля знамя,
мы забываем, что в системе форм —
и ты всего лишь парусник сознанья,
где видоизменяешься порой.

И вот, стоишь серьёзной креатурой
в своей непредсказуемой корчме.
И надо ль в оде звать тебя натурой?
Иль — в общечеловеческом ключе?

+++

Сдержи свой плач и выйди в мастера!
О, выйди в них, держа в своих ладонях,
прошу, о, не замедли, хоть бы в домнах
сожгли весь уголь, уголёк добра,

в них выбиться! Прекрасная пора,
когда, очей очарованье, выйдешь
туда, не пустошь, ветошь, вдруг увидишь
тогда, но Бог, электровоз добра.

Держись, пока не вышла детвора
на улицу играть в свои горелки
своей лаптой, среди, не плавай мелко,
но вглубь, всемирных паутин добра.

Сдержавши плач, но только не затем,
чтоб выбиться из сил, о, выйди в это,
и в то войти, о, а чтоб в свете света,
войдя в добро, быть ближе к красоте.

+++

Легальный вечер, как ты ни крути,
никто как ни крути — кругом враги,
накурено… Но ничего ничуть
не страшно: это финиш и провал.
И честно слышит всех живых Брахман
мою же речь, хоть я ещё молчу,

придя в упадок, как к себе домой,
где доверху уже засел ОМОН,
как дома. Полный финиш в рукавах.
Как правило, кругом одна хурма.
И тщетно ищет всех живых Брахман,
кого б найти и что бы своровать.

Я хоть молчу, и тем, бесспорно, прав,
что речь моя, как ни крути, провал
и легитимна, как никто нигде,
восстановившись в собственных правах,
куда б ни двинулась — уже затем —
в осознанный чтоб провалиться факт.

+++

Мраморный остов будущей травы,
стена в лице, как девочка иная,
и что мы узнаём, не вспоминая…
Кто это «мы»? (И почему не «вы»?)
Как нам сказать и как нам говорить
на мёртвых языках, и где живые?

Деятельной тоской мучась, впервые
всё нечленораздельно, может быть.

+++

Реки под высоким дном,
без почина дней почуя
тягу, ведают зато
в сердце — расстояний чудо;

и сквозь силу их и плен,
и, себя опережая,
те, не бывшие никем,
станут только их печалью.

+++

Под силу зренья или действий
земли спрягали твёрдый ропот:
одни — переполняясь вестью,
другие сосланы в природу,

где я, без права переклички
имён, зову их по глаголу
и каждым деревом опричным
доволен, как прицельным горлом.

+++

Где к оттиску прибавлено зиянье,
портрет, в котором всё растворено,
всё — приближение… Повязку на глаза мне —
что это зренье значило? Звено
или его разрыв, — в недрах базальта,
как росчерк времени, всё плавится оно,
как знать, себя не зная, вхолостую,
читай: обманом сделался обмен
и, близясь, снег приблизится ли к устью?
Это не то, продлённое во сне
настолько, что не знаю как, но надо

видеть, когда, почти обречены,
неглавные расходятся черты,
чтобы сойтись в лице, как на дознанье.

+++

Ничего нет. Лёд сам себя хранит,
словно под розой, облетая, виден
в ясной смерти — ночующий родник
начала дней моих на глубине и льдине.

Зо́рю ли бьют, дёсны кровавит звук-
потомок, начальствуя в колыбели,
где по закону подошло к звену
отсутствие, я ли в ней сам колеблем —

больше с целью забыться, чем хотел,
в предельный сон, фигурой умолчанья,
звук чуждый поместит меня вначале
так неразборчиво, что лучше бы — пробел.

II [анабасис]

Зимний мороженщик

Материя, может, какая
сменилась сама
собой, или что, иль синтагма
сменилась ума

простой парадигмою, духом
единым каким-
нибудь или словом, с которым
не важно — бог с ним

иль нет его с ним же: отнюдь
и навеки прощай!
Тут не ипостась, тут иное
и, ведаю, чай,

последнее, чую смущённою
как бы душой…

Как быть, говорю, как-нибудь,
вопрошаю, с тщетой

материи, названной выше? —
да хоть бы и нет!
Что имя? Тут надо иначе,
а времени нет,

синтагма прерывна и зла,
говоря не вполне,
и падает снег, и слова
начинаются с «не».

И я, говоря переносно,
смотрю им вослед.
Мороженщик тает в уме
или падает в снег,

иль падает мимо, в тележку,
без зова, как та…
Мороженщик, водки! Считаю,
зараза, до ста!

+++

Что же определяет, в конце-то концов, качество предпосылки?
Десять старших сержантов выросло-то, как тёмный да тёмный лес:
корневая система развита невероятно, аккуратно подстрижены, очевидно
что-то за этим кроется, адекватно понять и не нужно что.

Подняты документы, файлы, читают доносы, все тайные сети
станут когда-нибудь явными, факты сами врут за себя,
охрану предупредили, опечатать комнату, нечем, а надо, надо,
жизнь всегда выдвигает условия, это как дважды два одно.

Свет-то какой-то несветлый, берегут энергию, от кого — неясно, раньше
лампочку, что ль, вкрутили бы, да где те лампочки, нету, и всё, и всё,
и ещё то ли бьют ногами, то ли чем, непонятно, то ли сплошным каноном
вызывают умерших, дают им списки, мол, сам разгадай зачем, да.

Нет, так никогда, попробуй не тем, совесть должна вот-вот проснуться,
и голос льётся в уши и в ноздри, и в темя, и в полдень, и в

дальний путь:
каковы же, в конечном-то итоге, бывают качества предпосылки? —
и только земля шевелится под подбородком, и чувствуешь, как ты
прав.

+++

Уж август наступает незаметно,
шурша своей нетронутой листвой;
готовятся к отлёту эти птицы,
подозревая, что уже пора
подумать о грядущем; незаметно
в глазах прохожих выступают слёзы,
но это лишь намёк и предвозвестье
того, что будет; незаметно дети
куда-то исчезают — это символ
того, что вскоре прозвенит звонок.
Они глагол времён не замечают,
но линией двойною подчеркнут.
Сограждане себе готовят сани
и в них садятся, ко всему готовы,
не столько по привычке, сколько в знак
преемственности или амнезии.
О, посмотри, как это незаметно!
Ты ничего заметить не успеешь,
а всё уже случится, и не раз,
и, может быть, с тобой уже случилось.
Увы, всё это слишком незаметно,
к тому же невооружённым глазом,
к тому же погрузившимся в портвейн,
который убывает так неспешно,
что кажется, убыть ему нельзя.
О, посмотри!.. Иллюзия, конечно…

Солдатский блюз

По вечерам, вступая сам с собой
в неуставные отношенья,
я слышу музыку, дающую отбой
без сожаленья.

Я вижу мир как божий вертоград,
и моего унынья не тревожит,
что, разбирая этот автомат,
я соберу его, быть может.

Ведь может быть и нет. Я только часть
той силы, что уже стреляла
и промахнулась, а могла попасть
во всё, во что бы то ни стало.

Всем дулом я гляжу тебе в глаза —
всего и мысли,
чтоб навернулась на тебя слеза,
и блюз, покуда мы с ней

не распрощались. Я стреляю на бегу,
никто природе,
и ненависть к условному врагу
с последним выстрелом уходит.

Не надо шутить с войной

1

Папа делает пулемёт
из практически ничего,
а в груди у меня живёт
тайна имени Твоего.

Танки уже везде,
им наплевать на всё.
Я наклонюсь к звезде
и расскажу ей всё.

2

Люди бегут в магазин,
покупают спички и соль,
преодолевая сил
упадок и в сердце боль.

А у меня всё есть:
позаботился верный друг.
Я сижу здесь,
смотрю на трофейный фрукт.

3

Ощущение бытия,
если тебя убьют,
превращается для тебя
в безмятежный приют.

На минном поле солдат.
Его съедает фугас.
Его глаза глядят,
не предполагая глаз.

4

Если уже стрелять,
то лишь в горло, чтобы ему
не было что сказать
напоследок во тьму.

У меня всё впереди.
Я поступлю в ПТУ.
Имя Твоё в груди —
словно язык во рту.

5

Я выйду в субботу из
дому найти врага,
сделать ему сюрприз
непосредственно по рогам.

В сердце моём звучит
слаще хитов MTV
имя Твоё, молитв
не требуя, ни любви.

6

Сводки нам сообщат,
какое сегодня число
и сколько там раз подряд
добро победило зло.

В ноябре нехороший снег.
Если кто с ноября

стреляет тебе вослед —
делает это зря.

+++

Здесь. Послезавтра. То есть никогда.
С свинцом в груди, хотя ещё не поздно.
Но всё же здесь. Без вести и следа.
Ты в самом сердце сей метаморфозы,
пускай себе не веря, что слепа
судьба, сюда тебя приведшая без пользы.

Ты здесь, а в прочем жизнь кругом права,
кругом трава, и смертный ужас, и гитаны
со всем их лёгким трепетом — едва
ли только уст, — и так непланомерны планы,
что, кажется, я подберу слова,
но может быть, я этого не стану.

Не я, так ты, за вычетом свинца.
И сказка, чьё начало я не помню,
в твоём лице лишается конца,
лишаясь середины добровольно,
в конце концов лишается лица,
и снова всё вокруг побеждено любовью.

Ъ

Войди в просторный светлый дом,
запри чем хочешь эту дверь;
всё то, что помнилось с трудом,
восстанет в памяти теперь,
как неизвестный тот предмет,
бросавший взгляд тебе вослед.

Всё то, что много лет назад
тебя прельщало, о пришлец,
притом прекрасней во сто крат
к тебе вернётся наконец.
Закрой же, путник, за собой
резную дверь, и бог с тобой.

Однако ж, не забудь войти
внутрь, выбора иного нет.
Ты должен кой-чего найти,
предполагается, предмет,
который вслед тебе глядел,
но ты войти не захотел.

Отец! Скажу тебе душой:
ты много в жизни потерял,
ты стал в отечестве чужой,
твой взор чего-то там пронзал.
Теперь войди сюда, мужик,
и всё вернётся в тот же миг.

Войди. Как хочешь, но войди.
Запри, скотина, на засов
чёртову дверь. В твоей груди,
простреленной на вылет слов
и снов, последний пробил час —
пора войти, как уж не раз

я, чёрт возьми, тебе сказал
свободным русским языком;
я повторю тебе в глаза:
войди, о странник, в этот дом,
найди какой-нибудь предмет.
Он твой. Сомнений в этом нет.

Он твой. Всё это для тебя.
Под песни страшных аонид
ты видишь знак простой, войдя
в сей дом, как в русский алфавит.
Вотще глядят твои глаза!
Увидеть ничего нельзя!

Но всё ж ты видишь этот свет
в стихах поэзии простой,
которого в природе нет;
пускай на выстрел холостой
он не приблизится к тебе,
ты зришь его в своей судьбе.

Итак, бери его, чувак.
Он твой. В годины бурь и бед
он будет, верю, твёрдый знак
того, что оставляет след —
ввиду отсутствия другой
поверхности — в душе живой.

+++

Что прекрасней людей нам искать на земле?
Где искать их придётся и с целью какой?
Может, здесь они прячутся с целью святой?
Может, нет их на этой прекрасной земле?

Здесь их нет, и не надо их здесь, и кому
пригодиться они бы могли на земле?
На тем более этой прекрасной земле —
где их более нет — никому, никому!

Может, там они прячутся в целях святых?
В мировом океане плывут косяком,
по небесной поляне бегут босиком,
чтобы спрятаться там, не скрывая святых

своих целей. Да что там скрывать, наконец!
Ведь их нету и там. Там одна пустота,
здесь другая, и нет ни людей, ни черта,
и похоже, что это конец, наконец.

Или нет, я, похоже, в начале начал,
где прекрасней людей ни черта не встречал,
доходя до предела вот этой земли,
населённой во сне или въяве людьми.

+++

Я не знаю, что такое:
то ли буря мглою небо,
то ли сердце встрепенулось,
точно в юности младой.
Всё вокруг переменилось,
озарённое волшебно
кем-то в сумерках стоящим,
как причина бытия.

Я гляжу — глазам не верю:
где же чёткая картинка?
Где привычных очертаний
и явлений стройный хор?
Или я чего не понял?

Акциденцию какую?
Или гриб такой попался?
Или ценностям каюк?

Вот на площади серьёзной
Ленин глухо каркнет в полночь,
и восстанут антрациты
в полный рост из-под земли.
Вот по улицам в гражданском
ходят звери табунами,
вспоминая род занятий
с околдованного сна.

Вот герой, спаситель мира,
с субмариною в кармане,
типа девочку живую
из огня извлёк шутя.
Но ему не выйдет счастья:
эта девка подкидная,
и уже могилу роют
вездесущие враги.

Только в мире и остался —
чей-то в сумерках стоящий
чудный голос, как причина
неземного бытия.
И средь шума городского,
и в чащобе окаянной,
и в чреде унылых будней
он со мною говорит:

«Посмотри, что я придумал.
Вишь, диковина какая.
Эта штука — в высшем смысле
обещает быть твоей.
Всё останется с тобою,
кем бы ты не обернулся:
птицей-соколом воздушным
или чёрною звездой.

Посмотри: каким-то чудом
я даю тебе вот это,
в смысле удостоверенье
грозной личности моей.
Ты храни его — зеницу
моего большого ока —
как залог грядущей жизни,
вроде чистый феномен».

Видно, так оно и будет:
небывалое начало —
этот дар чистосердечный
вопреки небытию,
или, чуть ли не в угаре,
выросши из ниоткуда,
голубой косынкой машет
с подозрительных высот.

Паллиативы к Яне

+

Зашёл я как-то к Яне выпить водки.
Был тёплый вечер, день, не помню, запад
горел багряным золотом заката,
уж роща отряхала наркоманов
с нагих своих ветвей, зима была
не за горами, это ощущалось
хотя бы потому, что это было
в действительности так, ночное небо,
я помню, было чудно хорошо,
а то, что ласточки уже вернулись,
само собою говорило за
их склонность к этому, сияло солнце,
мне кажется, сияло солнце, я
почти уверен в том, что это правда,
что это снег искрился под ногами,
хрустя, а не какой-нибудь ещё
другой предмет, пускай бы и хрустящий.
Всё было так. Дождило. Вечерело.
Далёкий гром закладывал мне в уши
взрывчатку. Начиналася пурга
с околиц дальних. Лаяли собаки,
грусть наводя на сердце, ну а я —
вот точно в эти самые минуты
я счастлив был, не понимая счастья,
но в то же время
за всех людей душа моя болела,
чело тревожной думой омрачалось
и Богу укоризны я шептал,
хотя и дикой страстью воспалялся,

и, как ни странно, негою был полн.

+

Зашёл я как-то к Яне выпить водки.
Вдруг всё смешалось в мире — буквы, числа
образовали некое подобье
того, что и подобья не имеет,
какой-то, может быть, системы окаянной —
хотя, признаться, положив на сердце,
структурности в том было маловато, —
я всё же наблюдал закономерность
в том, что природа резко отступила
от собственных поруганных законов,
планеты изменили направленье
движенья по касательной к чему-то
и древний хаос пёр, как носорог,
свинья, из каждой убиенной строчки.
А я всего ведь только и хотел,
что выпить водки, не хотел, а выпил,
хотя не мог её уже хотеть
и пить не мог, вот, что-то не пилось,
и в то же время ужас как хотелось,
а в небе гасли звёзды безучастно,
и отрешённо холодела грудь.

+

Зашёл я как-то к Яне выпить водки,
уставший после битвы, но живой,
пленённый совершенством мирозданья,
отверженный на родине и повсеместно,
как нежный инок, брошенный в ночи
наставником, преодолевшим похоть,
как вестник изменённого сознанья,
настолько изменённого, что лучше
всю жизнь изготовлять в цеху прищепки.
Теряя дар членораздельной речи,
я знал, что пробил некий час трубы,
я видел, как она окаменела,
как десять шпилек в стол окаменевшим
челом вбивала. «Это предпоследний», —
сказала, протянув стакан гранёный,

и надо мной взошло седое солнце,
и в каждой грани мальчик козлоногой
плясал, и сердце на куски рвалось.

+

Зашел я как-то к Яне выпить водки
в Элизиум теней. Высоко в небе
суббота очарованно стояла.
По-над домами ясное сиянье
и бесконечный взгляд из-под земли.
Я шёл змеиной пастью этих улиц,
редел в тумане робкий пешеход,
луна казалась невидимкой,
и ростовщик подсчитывал процент.
Дома, где в полдень красили и шпаклевали,
детей дарили женщинам, как бусы,
глазки дверей соседских отравляли
и ставили капкан на сновиденья, —
дома теснились, как глухая рыба,
и зарывались в землю по свистку.
Какая-то одна в пальто уснувшем
мне показала, воздухом дыша,
кратчайшую дорогу
и клялась, что видит
во всём сплошное ясное сиянье
и бесконечный взгляд из-под земли.
Она сказала: «Разве ты не видишь?
Как много зла вокруг — разве не знаешь?
Как это больно знать — вообще не слышал?
Восстань! Судьба тебя зовёт
по имени. Иль мало их, убогих?
Останови фабричные гудки!
Пускай весь мир вздохнёт свободной грудью!»
Но я ответил: «Разве я не вижу?
Что много зла вокруг, я знаю точно.
Как страшно это знать — увы, наслышан.
Но, деточка, всё это иллюзорно:
рассыпались модели мирозданья,
рассеялся, как ясное сиянье,
твой бесконечный взгляд из-под земли».

+++

Октябрьская вода. Мечты убиты хлором.
Печальные друзья роняют свой убор.
Над озером притих певец лощинки праздной,
и хладной борозды невнятен ряд примет.

Ты в страхе ждёшь гонца. Ты сядешь с вышиваньем.
Ты с укоризною глядишь на мир земной.
Гонец нейдёт, нейдёт. Лишь голос наш, неслышно
звучащий в тишине, твой слух миротворит.

Не бойся, не страшись! Пугливою порою,
когда пугает нас опасный бой часов,
правдивым языком в твой адрес неизвестный
мы говорим слова. Не бойся этих слов.

Встаёт заря во мгле холодной и противной.
Порой выходит волк. Не бойся, он уйдёт.
Не бойся ничего: ни русской речи тёмной,
ни трепетных молитв, ни горьких тайн любви.

Не бойся ничего. Пускай падучий камень
с торжественных небес падёт куда-нибудь.
Пускай жестоких бед неумолимый пламень,
пускай октябрь, пускай придёт к тебе гонец, —

не бойся, это жизнь. В тяжёлую годину
родишься ты иль в час сияющих ресниц —
не бойся ничего, двойного отрицанья —
тем более: оно не страшное ничуть.

Поверь нам, в той стране, где только ряд понятий,
как лес, как бедный лес, шумит своей листвой
заместо нас живых, Христа и Бога ради,
чего бояться нам? Конечно, ничего.

Берет

(городской романс)

В том берете, в котором к молочному,
изловчась, за продуктом ишла,
за которым к прилавку заочному
сучья очередь в гору росла,

на которую гору взбираючись
с автоматом на их перевес,

целый взвод полицаев мерцающих
возводил между ног как протез,

сквозь которое жидкое стёклышко
посмотрел я с надеждой в тебя,
от которой единое пёрышко,
и за это рыдаю, любя.

Может быть, у шаманов воинственных
я вдохну безмятежный бензин,
иль под землю спущусь я таинственно,
как орфей, торговать героин.

Может быть, богословская кафедра
от меня отделит ипостась,
чтобы был я упавшая замертво
птица, в землю ночную глядясь.

Позачем не сказала родителям,
что бездонная жизнь пролита,
что в такси полупьяным водителям
не известен маршрут ни черта?

Лес манил, как твоё изваяние,
твой берет для меня серебрил,
словно должен сдержать обещания
только тот, кто тебя сотворил.

И за то искупленье пожизненно
будет длиться, хоть щастия нет,
и надсажен твой голос умышленно,
будто в усмерть заломлен берет.

+++

Моя жена и я —
пятиконечных две звезды,
и вечные бразды меж нас проложены.
Как сердце пылью растревожено!
Горит и плавится оно
внутри рубинами, вовне — нескромной тенью,
как будто вечно суждено
ему глядеться в узкие мгновенья
и в твёрдой бересте стяжать себе покой.
Так дым над падшею звездой
слезит глаза островитянам,

когда они сжигают прах отцов
пред идолом косматым или пряным.
Пускай народ непьющ, но он народ:
и без меня в него вкатились волны
отечества и страшного суда,
и с острова угрюмый, мшаный плот
с тюками звёзд и в ожерелье молний
несёт волной сюда…

+++

Взять хоть бы утро: что может быть лучше? Где
лучше найдёшь и какую ещё там вещь?
Сдохни, а лучше нет — повремени,
глянь, как прекрасен мир, да ещё с утра.
Утром нормально. Утром любой народ,
пусть враждебный, пусть видящий в нас ничто,
сам из дому выходит в бездну. Тысячу раз
я предпочту уходящих вернувшимся назад,
сделав сознательный выбор, хоть выбора нет.
Если весь мир погибнет, а я нет,
если мой брат в беде, а меня как бы нет,
значит, это не утро, что, впрочем, и так
ясно, как, впрочем, и то, что вопросов нет.
В этом нейтрале, с твоей-то верой в компа́с,
взять бы да и ходить по комнате — вдруг проймёт?
Сложится песенка типа сама собой,
жизнь будет бить ключом по святым местам,
выживешь как-нибудь, глянешь в окно, а там —
доброе утро, добрый хороший день.

+++

Я помню город, чудный, как склероз
истории, осмысленный вопрос,
смешные даты,
драйв Божий со слезами на глазах,
и ласточки чертили в небесах
круги, квадраты.

Я помню, как, ликуя и скорбя,
мы шли в ларёк, я помню, что тебя
никак не звали,
в тот день — особенно. Был ясный день,
всё было, и счастливый хор людей
не знал печали.

Я вспоминаю чёрствые хлеба,
лобзанья ввечеру, чалму врага
и как он, сволочь,
тротиловый вертел эквивалент,
и вдруг я понял: времени-то нет,
пробило полночь,

накрылось всё свирепою звездой,
свирепый дятел простучал отбой
из дебрей сада,
всё изменилось вдруг, круги сошлись
с квадратами, я что-то вспомнил из
другого ряда.

Февраль. Мороз. Колхоз «Подводный путь».
Как хорошо, что некуда тонуть
и можно плавать.
Кругом сидят крестьяне, как друзья
самим себе. За них спокоен я.
Орёл двуглавый

не топчет кур. Доярки холодны,
как обморок. Но родине нужны
удои, а не
скрещенья рук и ног, и головы,
и всё напрасно, и твои, увы,
глаза в стакане

не значат ничего на этот раз.
А что им значить, если страшный час,
пробивший ныне,
пробил меня, навёл на верный след
того, чего нигде на свете нет
и нет в помине?

А всё же там, на ихней глубине,
под веками Атланты спят, во сне
по сну гадая
о нас, идущих площадью чредой
мятежных как бы волн пропасть в одной
из них, рыдая.

Сонет

Что видел всё, что видел всё, что есть,
отчасти выразил, по крайней мере,
в прообразе без образа, и в сфере
семантики, приблизившейся днесь
к словам настолько изоморфно, весть,
пожалуй, бог, что, в явленном примере
отсутствуя, приблизившись к потере
и знака, и значения, как месть
бумаги, не стерпевшей ничего,
за вычетом анафемы Кириллу
с Мефодием, явилась как бы в силу
прекрасного мгновенья, отчего,
слов не связав, посредством их явила
себя как тождество, как торжество.

III [путрификат солнца]

+++

Динамика свершенья всех свершений
обречена на эту неудачу,
в которой мы — и лучевая скорость
монеты, обращённой в реверс дна,
причём, заметьте, были комсомольцы,
хлестали пиво и ломали девок,
а как дошло до неспокойной тяги,
из тех лохмотьев выросла вся тварь.

Уж ночь. Тойоты едут под асфальтом,
клубничное пирожное летает,
кореец смотрит в ласковое дышло:
там две секиры и ни зги хлебов, —
и я вдвоём с расстрелянной подругой
пускаюсь по замшелому проспекту,
разглядываю пуганые окна,
где обрывают чумный календарь.

Нескладная неделька на почине!
История оборвалась на страхе
и похоти, — мы пьём худую лету,
пока к вокзалу тянется состав.
И мёртвая подруга на перроне
заметно оживляется, как только
к ней подступают кочевые звенья —
узлы скитаний в греческих морях.

+++

Со страницы глядит шерстяной носорог,
  и гуляет на воле десантник,
словно выбитый газом из труб духовых,
  с честным именем, вросшим в сустав.
То как ночь на земле, то как день на земле,
  то иссоп источает рассадник,
то отставленный голос плывёт по узлам
  тихой сводней синих дубрав.

Тем и лучше, что это касается нас,
  нас обводит, скользит, ускользает,
и, коллодием дату рожденья залив,
  ты берёшь на манер колеса
эту страсть к обороту и скорость, и власть,
  эту скорость, которой мерцает
каждый узел, и гложет его без конца,
  отстаёт, не узнает лица.

+++

Как оборотень с приказу
по верху котельных, крыш,
откидываясь, не сразу
хватает когтями мышь,

а то как оживший стержень,
вильнув из ангельских труб,
сидит на пустом манеже,
отвинчивая шуруп, —

так нижний заполнить ярус
— северный, злой вагон, —
на нижней полке товарищ
спешит, но впадает в сон

и горше кошмара льётся,
и льётся, и как-нибудь
рвёт сонные волоконца
и переменяет путь.

Шаги Лепорелло

Ход льда, будь с тобой, хотя б побыть с тобой,
в тяжких льдах дом, бог с тобой, хоть бы две хорды,
скрещиваясь, растянули зал, и всей толпой —
что там? — видишь, видишь эти морды?

Ход сердца в текущих льдах, тебе побыть ещё
тяжче, чем высеять даль в глазные щели.
Щиплет мох рука, и всё, и всё не в счёт,
мимо — грунт, позёмка, щебень, щебень…

Так, ещё б тебе по щелягу платил снежок,
роющий углы в стёклах, ходы в азотной лаве,
где болеет кость и выродок столетних жён
льнёт к пробившей завершённость яви.

Плоть завешена, и ей придётся корм нести
в комнату, где все двунадесять языков,
скрещиваясь, ловят шаг в ходах, в трещинах повести,
льдом залив и взглядом телеса рассыпав.

+++

И, ибо навряд ли с ложки кормила,
и ничего, не важно,
сон подливала, по пустодолу водила,
а, это было, вечно:

кроткие пятнышки играли на нашей коже,
жёны случайные вышивали кольца на венах,
просто быть: быть ничего не может
быть наверно.

+++

В бандитском селеньи мы зимовали,
был хлебушек лютым, шуба на мыле,
дети медведей своих уронили —
и медведи упали.

Дай мне коробку сховати кости,
бо вряд ли мы скоро будем на месте,
а в рюмочке пляшут родные двести,
и сходятся к миру гости.

Дней не сочтёшь, и ночи, как вымя,
пугливы и спутаны между нами,
летят, как ветка, над головами —
и окна трясёт цунами.

+++

Африка. Ужасная эпидемия ликантропии.
Доктор в палатке варит себе вакцину.
Когда мы пришли, оказалось, что все мы слепые,
имя слепое у нас, и кто из нас вёл дрезину,

вряд ли теперь установишь. Солнце печали
всё нагревает в моих руках жестяную пластину,
всё надрывается. Вспомни, как нам сказали:

опытный негр никогда не подставит спину
под взгляды единоплеменников, особенно в эту пору:
он выходит из хижины, и его лицо
вращается столь стремительно, что замыкает в кольцо
пространство, — видишь? Теперь всё ясно: в которую
сторону он бы ни двинулся, он двигается вперёд.
Мы же свёрнуты внутрь, каждый шаг — отступленье,
сдача Бреды, горящие пни, селенья —
и отовсюду нам дышат в спину, — видишь? Вот:
литая стена недвижных внутренних вод
и струящихся берегов удивленье.

+++

И он не обернёт себя на взрывпакет,
он тот, который нет, которого не надо,
в холодных водах сей реки чуть жи́вый свет,
чуть раненая грудь,
преграда.

А ты, в его костях игравшая лучом,
протоптана, как луг, до своего порога,
и свет едва горит, так страшно, ни о чём,
что и пустого тела
много.

Сейчас пойдём с тобой и просочимся внутрь
последних рубежей, обрушимся, как сели,
на край зиянья где, где он стоит, как ртуть,
на ясный градус твой
нацелен.

+++

Удивляется лыжнику лыжня,
вырывается, как ласка, из-под носка
с робким шёпотом: «Отпусти, не хоти меня!»
Светит месяц в оба жилых виска.

Хлад и мраз такой, что потерпишь жить,
и еловый в ушах дребезжит вокал:
«Вот начнёт с тобою земля дружить,
вот тогда и посмотрим, кого шукал».

Слишком ясно для лыжника. Берегись,
чтобы вслед ни голубя, ни змеи,
чтобы крепче смерти глядела вниз
вереница звёзд об одной земли.

Ускользает из пальцев, разжатых вплоть,
вся-то местность, просвеченная, как грудь,
и снега поднялись ещё на треть
локтя — и устали суть.

Хор из трагедии «Колумб в Венеции»

Отмени солнце, разори день,
отправь подругу к филистимлянам,
всё равно душа воздыхает
о скудном младенце из Лимба.

Червоточина его хороша,
огромные вулканы подводные
вырастают во снах даровых
под тяжелорунной портьерой.

Одна лишь самаритянка его
смутила, дыхание прервалося,
когда в спазматическом приливе
лицо её изменило цвету.

Что навстречу ей побежит?
Корабль плывёт ей навстречу,
птица её умирает
на плече, себя задохнувши.

+++

С того света ключи и замочек
оболгали открытую дверь:
у окна притаился налётчик,
под окном обернулся зверь.

Сей живущий не знает, как мало
ему нужно, чтоб жить и дышать:
вон, к нему с ледяного вокзала
бедный ангел спешит опоздать.

Недотрогою дверь обернётся,
будет хлопать всю ночь напролёт,
как косые глаза инородца,
и к заутрене гостя прольёт.

Бросит лётчик дурную работу
в неземные края улетать,
от заката и до восхода,
ничего нельзя объяснять.

А когда он вернётся из комы
и забьётся, как бешеный пульс,
в зверовидном дверном проёме,
я без страха к нему наклонюсь

поглядеть, как жестоко и смело,
потерявши печать и упор,
нежность, сбитая днесь с прицела,
бьёт ключом из расширенных пор.

Кандидат Шмерц

А это снова я с моей усопшей
попутчицей, грызущей долгий ноготь,
пока Сатурн стоит в зените ока, —
у нас на пару два билета в цирк.

Как будто локти, хлопаясь несчастно,
разведены, и как волна в проливе
Босфорском, обнаружим течь на судне
и в купола без оклику войдём.

Вокруг меня бумажного медведя
тут водят вхруст на раскалённой меди,
и всею пастью, как перед налоем,
меня глотает тихая вода.

А та всё дышит воздухом, и всё ей
мнится, что надо выйти на арену,
смести песочек, шариком спуститься
до бедных чисел… нет, прости.

И мы проходим дальше, и над нами,
как тело, опозоренное лишней
конечностью, лежат увалы света,
и собственный источник придушить

ему хотелось бы, но, разделяя
меня с каким-то рваным промежутком,
откуда толпы валятся в партере,
он — сам причина, хоть последствий нет.

Запоминай, со мной бредущая пустынно!
Я выпущу тебя промежду речи.
Я вызываю спутник и подлодку,
где моряки играют в пузырьки.

Запоминай ветер, лучевой и виноградный,
в аорте чудный зритель окольцован
страхом при появленьи вольтижёра,
пески, пески, всё движется, — запоминай

год, хранящийся под лиловой кожей,
венеру в твёрдых пальцах обезьяны,
всё рушится, скорее!.. Чудный вечер
с копытом в кресле. О, ещё, ещё

запоминай, как, равная природе,
нас била дрожь, когда, беды не чая,
мы вглядывались в шар воздушной ямы —
и воздух перед нами уцелел.

22

Евгения глядит на Первомай,
пока на кухне закипает пар,
и никого, кто руку даст, как дар.
Она и так составлена из дыр,
а тут ещё в виски стучит земной
шар, выбивая долгий позывной.
  Пока они идут, следи за мной.
Поскольку остаётся разгрести
земную пыль, чтоб вызвать упыря,
она стоит с полудня до шести,
в горсти обмылок зеркала моря,
и зайчик улетает в небеси,
как Белоснежка, когти запустив
  в свинцовый лязг сатурновых пластин.
На ней виссон светлей лазурных глыб,
и, словно бог, мерцает верный друг
по всем углам, из осторожной мглы,
в которой чашки валятся из рук.
Не продлеваю день, и час, и век!
Земля, пробив висок, вплывает в гости
  и вертится, как марш-бросок,
  в зенице нераздельности и злости.

Англо-бурская война

1

Лев — в кустах. Солдаты как попало,
бровью осязая грозный грунт,

на каком начало всех началов
истязало кайнозойский фрукт.

Вот сейчас у нашего порога
расплелась жестокая трава,
и кому приснится бить тревогу,
тот уже подымется едва.

Развернись, огромная могила,
огорчённым ртом ко мне прильни,
чтоб земля за мной не уследила,
как в крови проварены огни.

2

Пастухи теряют в вышних стадо,
и оно задумчиво бредёт
в тот зенит, куда моя отрада,
задремав, живым меня берёт.

И всхожу над рваным горизонтом,
озарив палатки и дозор,
оглушённый чудным изотопом
вечности под вздохи сикомор.

В поле проходящий, как икота,
враг не знает, чья на мне печать
прилегла и ясная забота,
чтоб живых от мёртвых отличать.

3

Мародёрской речки многословье.
Воздух снится, как один из тех,
о которых воют в изголовье,
день повис, как клоун на персте.

Покати шары по полю боя,
чтоб они упёрлись во предмет
не любви, а трезвости, и стоя
салютуй ему во страшный след.

Он горит, как выжженный посёлок
в воспалённом явью далеке,
и туземцы, мёртвые спросонок,
низачем спускаются к реке.

4

И фаланги пальцев, что привыкли,
и дожди, умеющие всё,
голоса: обрушен ли, увит ли
лентами, как это колесо.

Ты меня люби, а я не буду,
погляди глаза, как пустоту
временем пролитого сосуда,
вобрази мне снег в горячем рту,

и по снегу пусть идёт разведка,
предварив победные полки,
и, в груди распахивая клетку,
обрывает тяжкие замки.

+++

В деревне ночью, верно,
все спят, а ты не спи,
как аспид и царевна,
не вставшие с перин.

И воет передатчик,
ощерясь на волну,
и руку тень обрящет,
куда ни протяну.

Найдётся и запястье
впитать змеиный яд,
чтоб долгое несчастье
за царской дочкой вслед

неслось и настигало,
и ах! не ближний свет
в два зябнущих оскала,
а краше в мире нет.

В конфорке шевелится
вполсилы отчий край,
и меж двоих двоится
угрюмый тусклый вой.

Но кто они, изыди,
когда в холодный ляд

бросает ночь их гниду
и отражённый взгляд?

Всего же вероятней,
что на двоих делим
не ствол перины мятной,
а день — и страх за ним.

+++

Фонтанчики в саду, что твоя бессонница,
откуда столько слёз? и в траву не верится,
по лунным кратерам пробежала конница,
«ах, если бы только знать!» — ахнуло деревце.

А тот будильник, что стыл под рукой таинственно,
в самое сердце звенит, и́з дому просится,
в самую лютую ночь по верхам безлиственным
с чёрным пропеллером нехорошо так носится.

Кто, гуляя по травке с собачкой ротвейлером,
кто, старушку живую переводя через улицу,
увидит его, вздохнув, как овца над клевером,
тот вовек не умрёт и сирым полюбится.

Nothingale

И собачка, и кошка говорят: уйди,
воздух в осадок хлопьями на земли,
стволы тополей и осиновый кол в пыли,
и счастье ходить копытами по грибы.

И чашка, и мышка, и сам паровоз-государь,
вези меня и тебя в золотой сарай,
откуда глазеет баба в своём лице
и тварь неживая себя же снесла в яйце,
а в небе небесном звёздочка чинит рай.

Нога, ступая по мёртвым хлопьям дышать,
пока другие обдумывают предмет,
ища себе тело, чтоб на лету держать,
что белый свет, как твоя молодая стать
в японской яме, откуда прими привет
с сиротской ёлкой и бабочкой во цвету.

Самокрылатый ястреб, летя в нетя,
тебя, дитя, утешает размахом тоски,
утопленник машет собой из щедрот реки,
с тобою, как с омулем из головы, шутя,
с тобой, о которой врут, что даёт на бис.

Всё, что ты видишь, видит тебя вдвойне.

И мишка, и чушка, и все приводные ремни,
и я безударной гласной пошёл пройтись,
я вышел, повсюду вишня цвела в отброс,
под вишнями, где клешнёю меня помани,
в азотно-кислый сюрприз зарой с головой,
зане это правое дело и не вопрос.

Чёткие волны парков. Такси, урча.
Чёткость, раздаренная как с чужого плеча.

Ты вышла из-под асфальта кривой травой,
когда заря всходила, как пулемёт,
чуя карманы, полные ничевой,
чтоб в Воркуте пейзан угробил лимит
вышки над головой в разгар посевной, —
вот тебе, девушка, всуе простой ламент,
праздничный обморок и межпланетный отбой.

Долгое время нам кажет себя с лихвой,
долгое время об нас разбивает льды,
тужит во льдах, как белая вещь на пруду
среди узкоглазых сосен — приди, приди! —
к тебе, о которой письменно и в бреду:

всё, что ты слышишь, слышит тебя насквозь.

Вот лайнер американский, а вот и я,
вот бурый медведь с нагайкой, а ты легка,
когда в дренажный отсек уплывает ночь
для синего моря и храброго челнока.
И месяц над нею светится полынья,
и стража от первых дней погибает зря
в блестящей кабинке, из коей выносят прочь,
и жалко приставить, как гвоздь во упор виска.

А там посему и движется круг небес,
что в чёрной пластине сыграет твой перестук
с другими, нездешней силой, подземный друг,
объятыми, как партизаном помятый лес,
и, если хочешь, бери, как оно и есть —
с дурой-лошадкой, задравшей крашеный круп,
с пеной усталости у ядовитых губ

заводного солдата, пока, отверзая есмь,
он улыбает рот, отъинуды песнь.

Каприччо

Поглядим, как кораблик на просторе
замечательно наливается ртутью,
ртом берёт волну и отпускает,
редкость — то, чего он не может.

У него в семиярусных отсеках
матросня играет в адмирала;
если будет в том необходимость,
адмиралом станет каждый пятый.

Плюс ещё в показательном порядке
по всем мачтам развешаны паникёры,
но не это главная идея:
основное — то, что скажет боцман.

Сам же боцман ничего не скажет
или отделается общей фразой,
да и кстати, откуда бы взяться
боцману, когда его нету?

Завершает картину изумленье:
убедительная шифровка из центра,
и счастливый путь их продолжает
продолжаться ещё более счастливым.

+++

Смысл производственных мощностей на острове Крит,
и куда исчезают люди с мирной клумбы,
разве что сонной артерии может присниться:
посредством её мы верим в воскресение мертвецов.

Знает веточка барбариса,
какими путями мы служим Господу,
и, словно дряблым пакетом из супермаркета,
божественный ветр играет оглохшим сердцем.

Вверх и вниз, вверх и вниз тянется,
помнит чудо, явившееся ягнёнку,

умеешь петь, умеешь входить в двери,
никогда никого не узнаёшь в лицо.

Нет никакой причины, чтобы жить в Италии
на грядках фонтанов и львиных площадей,
где, шипя, вырастает из горла волшебный маквис
и венозная соль прожигает октаву.

Жальче вдовы в соколиной тьме островов,
беспомощней крестьян, ждущих парома,
твёрдой рукою усыновил меня,
как паука, ввёл в разгородки храма.

И вот, все мечты — один прыжок,
каждый билет выигрышный, как последний,
дыхание реставрировано от самых костей
и осиновый кол, пробивший грацильный череп.

Я гляжу на тебя, но вижу развороченную землю,
ты глядишь на меня, но видишь ряды под прицелом,
будто красный кодаковский зрачок,
паром горит, горит под мёртвой водою.

+++

Третьестепенны голоса стрелков,
хотя бы с дальних луговин летящих,
в прозекторские комнаты входя
одним рывком и мстительным усильем:
то им раскроется невидимая карта,
то в перигее вновь забьётся сердце,
и шагом оккупационных войск
пройдут неотменяемые явки.

Дорога здесь несолена, не рыта…
Возьми их за руку, введи их во чертог
из купороса и свечного чада,
мадонке рыжей кланяйся впотьмах —
пускай истлеет, но пускай запомнит
их стройный хор, он ей заместо сына.

+++

Англиканская церковь ему говорила: стоп,
снег сквозил, его убивая в темя,
звериная молвь и человеческий топ
по тёплому эскалатору опережали время.

Только это и было началом — клок
линяющей станции, которую перелетают брезгливо
солнце и звёзды, царапая потолок,
вагон, искорёженный силой ночного прилива.

Десять тысяч солдат, встав из своих рушниц,
дружно выстрелят в атмосферу, пугая галок,
дружно выроют яму из воспалённых лиц,
но не узнают его, как должник — фискала.

Что, как не долг, его заставляет вновь
держаться прямо при встрече с теми, кто рано
и навсегда был потерян, вывалился из строф,
покуда охрана корчила обезьяну?

Посему точка ставится, славится твёрдый знак.
Всё живое — эпос и клятва, и братские узы —
обрушенное, как солома, тянется к ней во мрак,
словно уже лишившись людского груза.

Вот и английская королева, кутая чешую
в старческий мех, что бы ни замышляла против
этого человека, остаётся скорость вагона с пятью
пассажирами, каждый из коих достоин плоти.

+++

Гордые финны и своенравные туареги,
челюсти лилий, сомкнувшиеся на Венере,
солнечной радиации милая полная ванна —
утешительница, растасканная на сувениры.

Нипочему не будет больше людей на свете,
охотник увидит дичь и в неё промажет
по никакой причине, и глаголы-связки
хоть и попробуют, но ничего не свяжут.

На самом краю стола — аммиак и тина,
финские сказки парно́й обрастают щетиной;
будешь об этом думать, и начнётся вьюга
и больше никогда не будешь думать об этом.

О, перебои нашего ритма, пульс — и лимфа
пробивает туннель к почти ненужному звуку,
из-под ног, обезумев, выкатывается площадь,
где лучше сгореть, чем узнать, кто пожал тебе руку.

Тысячи этих жизней, скрываемых, как уродство,
чтобы тебе не пришлось отравлять колодцы,
и если милость, то только такая, и если
сказано, что прольётся, тогда прольётся.

+++

Гляди на лес сирен, протяжным строем
бредущих как под створкой пулемёта
среди сквозных овчарок, меж пробоин,
отвоевавших чёрный полдень лета.
Клавиатура сохранила пальцы,
чтобы ощупать свежий пот на скулах
в тот час, когда лишь дымчатое сердце
тебя горой накрыло и уснуло.

Гляди, как хвойный лес сирен вчерашних
стоит плечо к плечу в гептильной луже
и раздаёт пинки дурак раёшный
на ядовитых пашнях оружейных;
чуть рыжей рыбой слух таранит берег,
как всё, что ей в добычу достаётся, —
нечистый голос и паденье денег
со скрежетом на чеках иностранца.

Сирен бескостных лес, дрова, бумага,
исчерпанная, смолотая в сечку,
когда лилась из-под ногтей отвага
и упускать людей вошло в привычку, —
одна из них не лучше, чем другая,
и бьёт хвостом, вытягивая губы,
с продажной силою оберегая
труд монитора и ночные трубы.

Искусственные, родовые твари
за ней не признавали поколенья,
пока стояла в солнечном ударе,
тяжёлая, узнавшая давленье
толщ именных — любого поимённо,
кто выводил её с экранной пены

на проливные пажити и склоны,
и полдень падал с тяжестью охранной.

+++

«Мой сын Луна, кому неведомо ничто,
совет мужей с могилами своими,
яд! яд! кармин, халколиван…
Прощайся ныне с братьями своими.

Господь ест сердце, бьющееся вспять,
и сердце ближних не согрето,
злых глаз не размыкает, блядь,
освещено — и против света»

IV [открыто]

Полёт птицы в верхних слоях протерозоя

После, когда глазные капли просохнут в глазах умерших,
в крестах, опоённых зверем аридных кровей столько бесстрашно,
и небольшая ночь наступит, и всё, что движется либо движет
упрямо, вдоль каскадов, виноградников, и то, что уснёт не раньше,
чем погаснет последняя Андромеда в фальшивом пластиковом вертепе,
то, чьё волшебное лицо узнано тобою столько волшебно,
обернётся на скорости ***с***, рассекая густеющий трепет
собственной глины — в падении и в возвышеньи, —
ты смотришь: какие руки рвут тысячелетнее земное мясо,
в жёстком траффике тянутся друг к другу сверху и снизу?
Она за твоими плечами. Её капитан разрывает все зримые связи,
чтобы очнуться в комнате, без огня, в жгучей белковой слизи.
Ты смотришь, как таксисты, которых не надо помнить,
прижимают свинцовые руки к талым кирпичным стенам,
откуда ударной волною дрожь прошивает их, словно
консервную банку. Ты замечаешь великолепное
струение глянца вдоль светлых дельфийских окраин,
где ничего, кроме девочки в слепом пятне безразличья,
не умеет забыться. Но рядом — чистый дух, который отравлен,
но к оглушённым губам её вдох прибивает, как пограничный

столб. Но и там, в глубине, где солнце твёрже металла и неподвижно,
кость к кости, время прирастает к времени. Обмирая от страха,
гадай: ты над нею стоишь или, господи, под ней? И вот, всё ближе
райских садов двусмертных, пронзивши пластины праха,
наконец, изо всех отверстий, колодцев, из миллионов земных пробоин,
взрывая асфальт, как молочную плёнку, искорёжив автомобили,
крик её тебя достигает, как известье о том, что такое
любовь: что тебя не навеки в ней схоронили.

Гастрольная программа Inferno

В Гластонберри приехал ад.
    Добрая девочка,
посети расписной балаганчик,
потрогай бедняжку Barbie — земное
вместилище богородичного миньона,
вызванное тобой, как секретный дух.
Там, за дверью,
в синхронном усилии снега и грязи
расправляется местный полдень с преображённым светом
транзитного меридиана:
            божество
удачно легло на глазеющий лик этих будней. Теперь, вот,
ты одна. И слиток
привычной силы леденеет
в кармане грошового пальто.
Теперь уж ни для кого не секрет,
что ад —
чрезвычайно подвижен:
скорость его равна ***c***
   (везде; в Гластонберри — в квадрате),
поскольку,
видишь ли, добрая девочка, многим отсюда кажется,
что жители Гластонберри всё же
довольно смертны — в стойких лучах процветания
они обретают повадки иной темноты
и полнятся ею…/
            /…войдя, целый день она провела
в просверке спешной страсти, у окна; не доносилось ни звука,
откуда пространство уступало себя общему взгляду,

не успев пролиться в предметы, а прежний голос, трассируя,
угнетал восстановленный телеэфир; ничего более
не смогло бы её восхитить.

Открыто:

Гусейново тело бродит по корридорам само, отражаясь от стен,
  как крик высохшей птицы между жвал железного леса
Его тень трёхмерна; с пером в руке она ведёт счёт его шагам,
  которые мучают наготу бирюзовых плит, проседая
Он отвращает удары судьбы — это мираж
Усталость семисотлетних вин, зодиакальное струение флегмы
  по краю лиловой чаши
Никто не знает, когда пришла отрешённость
На шахской постели спит обезьяна
Деловой разговор служанок за тонкой стеной дразнит зародыш слуха,
  как если бы состоял из одних протяжных согласных
Как укреплённая башня — пятая фаза луны раздвигается, обнажая
  холодное женское ожидание
«Медитативная сила этих пространств совершенна; сияние их
  каждодневно; и всё же
Твоя старость их иссушила»
Гусейн делает жест, отсекая власть и паденье
Его харем кидается к зеркалу, чтобы видеть, как исчезает нажитое
  в бессилии и сладости лунного зева
Гусейн замыслил убийство: он убивает свой харем, наслаждаясь
  вновь обретённой невинностью
Факир, обернувшись змеёй, пробует его пищу
Гусейна выносят на железных носилках во двор, где он в исступлении
  чертит мелом квадраты на прозеленевшем остатке плит
И в пневматическом окрике, рассекая затмение юного воздуха,
  оживляются пределы пятничной стражи, тошнотворные запахи
мускуса,
  роз, тяжесть рода и семени

Высунувшись из окна, его харем воет жалкие песни, в которых
  каждый звук трижды равен насилию

+++

Сквозь лоб мышиный начиналось время,
и да и нет, одна в своей груди
выводит косточку и продлевает тело
до ядовитых льдин, усеянных людьми.

Минуя кожи шёлк, о, брат и о, сестра,
расширена приливом, плоть восходит,
на страже, вкруг костра, рыбак и рыба бродят
от своего лица.

Зачем даны и руки и крыла,
упругий стан прямоходящий,
куда он движется, пока не призвала
к священной жертве и живородящей?

А та лежит безмирна и пуста,
своих скорлуп не наблюдая,
на ней Атлантики пески, о нет, снега,
о да, в слепящий мозг плывут родного края,

где волн её никто не сосчитать.
И капитан полярного медведя
хотя не верует, но достаёт из меди
прозрачный крест и прядь своих волос.

+++

Сон, вылей человека нам из воска,
на хлынувший асфальт упал без чувств и мира,
и радикальной влаги зимний хруст,
и вывернуто из-под снега веко.

Отец, дымясь, прошёл по морю слёз
и не заметил, как, держась за рею,
на каботажном судне плыл матрос,
и нынче он плывёт, куда, себе не веря,

плывёт без скорости, мертвее, чем вода,
и мнится нам, в чужом краю трепещут
его очей незримые стада,
его души златой помещик.

Нам жаль его. Свой пепел вылетает
из горла там, где родина зияет
сквозь линзы перевёрнутых небес,
где крест становится змеёй безвидной

и нам в цепочке алфавитной
мерещится, как циркуль и отвес.

+++

Там, за оградой, без опоры
цементный мост во мне воздвигнут,
срезает с купола касатку
в широкой тьме страны военной;

и сам себе жилой скворечник,
и сам-третей прославил в вышних
того, кто с ледяной свечою
прошёл по этой иордани.

Там образ льётся в ход зеркальный,
а в окрылённый дом ступени
промокли, — ну давай, попробуй
войти — и пальцем век коснуться.

+++

За Веной Рим встаёт из гор
червонных, выжатых на струны,
как лунный сок вплетён в узор
с когтей пылающей трибуны.

К нему поднимется змея,
с пробитым камнем в мёртвой зале
он будет спать и корабля
увидит влажные скрижали.

Что здесь хранилось от земли,
меж нами роздано, густою
лепниной талых птиц легли
миры, просевшие по двое.

И вот откуда пролился
в рогатом Риме свет зелёный,
вдоль рваных глаз его скользя,
когда по площади сожжённой

в кулон, как в южный монастырь,
шло с выселок твоё зимовье,

и там двупалый след простыл,
и голова маячит вдовья.

Случайно на твоём окне
отыскан корень к этой розе,
и так уже глядишь во мне,
как будто вдаль везут полозья

не кость, продавленную в ночь,
где рыбный лом безвестно длится,
а целый город дымных рощ,
восставший под холодной спицей.

+++

Центральный ветер возвещает
о том, кто землю посещает
тенями милого лица,
которое воспомню,
и с верхних этажей срезает
полуживого беглеца
из милости господней,

о том, что бережно сказалось
всей жизнью, выданной на парус
для неподвижных кораблей
средь комнатки чудесной,
чтоб, как сестра, лицом прижалась
сквозь сон беседок и аллей
к земной груди невеста,

не оттого, что в тёмных веках
её болтался, как калека,
просторный оттиск этих ран,
но потому, что рядом
к дыханию живого меха
пчелой припал орган —
и пойман самым беглым взглядом.

К моему Сильфу

Пустое тело, ночь иль колоннаду
для жизни выберешь — не той, которую согрели

на полчаса враждующие яды,
чтоб с большей яростью отнять
от птицелова сеть, — как будто в самом деле
ты выведал, что есть достойная преграда
и между нас, пока что там, в прицеле,
к догадке медленной приставлена печать.

И кто же так доверится, чтоб тенью
врасти в остаток неподвижный
случайной меди, выданной отребью
на скуку и восторг в их детской пустоте?
Кто так сомкнётся? В чьём видении всевышнем
бросок воды застынет на мгновенье,
когда твоя земля казалась лишней
и падала, и гроздь оборвала сетей?

Тогда, бескрайнее, ты отступаешь в эту
секунду тьмы и сна, образовавших вазу
для обездвиженного света —
несчастие и боль, прочтённые слова,
и сей же час, как будто по приказу,
моё дыхание восполнит незаметно
волна воздушного отказа
исчезнуть в тёмной речи без следа.

+++

Колесом обозрения дом зовётся,
потому что людям и там живётся
с провода́ми в срезе ланцетной шеи —
как прицельный залп по живой мишени.

Ну который, едучи в лифте спальном,
поглядит лицом в потолок провальный,
чтоб на аспиде ангел летел небывший,
приливая кровью к холодной нише?

И душа, примеряя себя напрасно,
так входила в этот распил несчастный,
что по рубчатой ткани бежит узорчик
из условных лиц под протёртым скотчем.

+++

Сам плод себе и сад, и ровный дух
поверх воды, поверх лица летящей
в покой увечный, за которым слух
музы́ке страшен говорящей, —

представь ему, как ходят стаи туч
на той земле, где сам себе могуч
и награждён почётным легионом,
и в сей же час утопленник плывёт,
как самобранка, вдоль ликвидных вод —
восхи́щенным, сухим и восхищённым.

И потому, что на подводных швах
стоит земля с её последним дымом,
такая песня кажется в ушах,
что действие её необратимо.

+++

В шунтах погромного вокзала,
где смертный видел плоть дриады,
в цепи волненье огневое
по лёгким окнам пробежало;

затем что стражи у палаты
на лёгкий звон не оглянулись,
в их полный рост сквозь тайных улиц
луна провисла над дырою.

Но, дыромером управляя,
как выбраться из вязкой массы,
когда видением смертельным
в полнеба всплыл висок нательный?

Сквозь тайной трассы лик знакомый
поётся песней воробьиной,
и этой песней, как личиной,
тебя из гру́ди поднимая.

Не знал ли я сомнений страшных,
что плоть качается бумажной,
что на весах, как знак подъёма,
личинка в прахе оживает?

Взамен оставленного дома
воронка воздуха прямого
над ней стелилась, как живая,
от края света и до края.

+++

То жива девица, то младенец,
никогда уснувший под стеной.
Ночь и ночь в окно стучит эсминец,
выбивая позывной.

Холод сам, и с моря, и с небесной —
в три весла гремящий бой чудесный
проплывает. Подожди,
за которой струп лежит безвестный
с сердцем вдоль небьющейся груди.

Два дыханья, но одна притравка,
чтоб реле замкнуть, переключив,
жизнь болтается, как ставка
на двоих единая в ночи.

И такое ставят изголовье,
что, с лица подзольный мир сведя,
то одна, как зверь, себя завоет,
то другое встанет, как дитя.

+++

Д. Д.

После гостя на пороге чудится,
как в земле его двойник ворочается,
сыплет венчик бирюзой янтарною
по лицу с побегом полумесяца.

В жидких окнах шарящим прожектором
твой плавник изодранный высвечивается,
бирюзовым соком наливаемый,
сам плывёт во тьме необретаемой.

Стоя на плацу, себя ударной
вызывай частицей и волной

из высокой бездны, благодарной
тем, что вдруг раскрылась за спиной.

Puer ludens

С. М.

Младенец в космосе играет
дышащее тело.
Двойная бездна скупо апплодирует,
и на галёрке
её зрачок, пытаясь уловить
симулятивное дыханье,
расширяется
кварталом католическим Царьграда,
где турк затравлен специальным бесом,
доставленным из лона римских пап.

Младенец оголённый провод прижимает
к урону матери, чтобы поймать
в её лице скупое выраженье
удивленья
для мизансцены жалкой.
Он учится — не тот,
растерзанный дарами бездны,
не хмурый выкидыш Семелы скотской.

Он силится изобразить дыхание,
но здесь
его освищут и как назло
игра проходит без аллюзий,
набело,
на настоящем вдохе.

Орион

Или может быть…
Гумилёв

Человек встаёт простым винтом,
руки плеч размазаны крестом,
третий глаз сверкает мирабелью, —
се, продукт готов к употребленью.

Злой язык о нём поведать хочет,
как его сосуд древесный точит,
и течёт нагая квадратура
по устам полмёртвого скульптура.

Кто, герой, найдёт ему слова?
Помнит только лес, а в нём тайга,
а в тайге условный знак летает, —
помнит знак, но вряд ли разгадает.

Этот знак гласит в своём ключе,
что скрывал охотник на плече,
и в пространстве лицевая точка
из-за чёрного всплыла веночка.

На её-то холод огнеструнный
мчат и гибнут поезда в пути,
чтобы, милая, в тот лес чугунный
нам с тобой поехать и пойти.

Aux Champs-Élysées

1

Полчеловека — лучшая половина! —
зашло ко мне в гости чрез печную трубу,
всыпалось на елене багровом гудя турбиной —
Rubus Maria! вот она жизни основа,
пуповина,
канат с акробатом, пляшущим на сове.
Вот вам гистория, яко плоть стала словом,
на елисейском полюсе, в вертикальном гробу,
где сей атом делимый лежал под венцом хрустальным
и пасся елень на моей груди, голове.

2

Следит журавлик за песком,
катящимся по дну,
в одном крыле — тринадцать крыл,
а в двух — сочти сама.
Он разлинован всей бедой

до лунки золотой,
и клю́ет печень у него
царевич Елисей.
И всё ж: которая луна с его слетает бедных крыл,
как бедный йеменский флажок и саван, и чёрная шаль?

3

(speaking in tongues)

Вижу, цветет церулея на высохшей грядке пернатой
любящей шуйцей окучена по верхи и обло озорно
в небе знаме́ние лаяй зерцало тецкатлипока
цанцу снимает со змея медянки порфирогенета
паки цевницею той мусагет лепо бяшет окрестность
всю зерновую культуру бобовую истинно хощет
чтобы геката земная бряцала как чандала недалече
в унгрунд меча исподлобья эн соф и елейное семя.
Грядки моей же вовек не касался обутый язык человека:
лютики и лебеда вырастают оттуда сами и глазу отрадны.

4

Что царь твой мятётся в земном колесе? —
Не рыбка ль на тверди играет
о смерти, взошедшей в ущербной красе,
о том, как над палой звездой Елисей
зелёной волною сгорает?
Так всякий, входящий разбойной тропой
в поля безначального чада,
не связан ни клятвой, ни песней живой —
и дерева нет под обмёрзшей листвой,
и нет у садовника сада.

5

Экуте песенку о Божием чуде:
вышла убогая гризельда из дома,
в лес за хворостом пошла от зимней хворобы,
что растительность дала в париже в ту пору,
собрала, несёт в плавнике за спиною.
Бог твёрже камня хватает за горло:
Погляди Гризельда Какое Поле.

Ног не чует уже, захлёбывается мольбою,
стоит — ни души вокруг — столбовою солонкой,
золотою дворянкой плавает в море зелёном.

6

(к Элизе)

Тереза, милая, куда так проворно? Слышат
все звери людские шум крови, пролитой свыше,
этот басенный ливень, в котором от дальних миров застыли
жизни тех, кого мимо всякой любви любили,
кто был застигнут в поле во время беспощадного сева.
Земля ещё суха, но всеми порами чувствует близость гнева,
пурпурной нитки, молнии, мельницы, движущихся песчинок
стена без преграды носится… Но в полном восходе того, невечернего чина,
о котором всякое дерево дышит и всякая песня лучится,
ты уже не скажешь *я есть*, но прошепчешь — *я есть то, что случится*.

7

Долгие долгие дни,
ты — кольцо горизонта,
круг, проведённый от руки вслепую.
Здесь на хо́лмах тумана легла золотая зелёная ибица.
Посмотри теперь, как играет
этот лучший цвет соскоблённых глаз,
и бесстрашная белизна,
сочась сквозь рваную ткань горизонта,
вскипает бешеным эверестом
и тотчас же покоряет себя.

8

Во ботаническом саду сидели,
над ними тихо ели свиристели
и торф горел под ними, уголь цвёл.
  Когда б от этой бирюзы и ваты,
  рассеянной средь элевсинских сёл,
  рождались из земли сырой солдаты,
они б уже сбивалися в каре
в Лютеции, на Марсовой горе,

и их бы лицезрел с аэростата
  Амор, что движет корни и квадраты.

9

(способная ученица пишет своему Золотому Учителю)

Господин мой, седящий среди жывых,
я вчера перешла иссык-куль яко посуху,
рыкающим вольвам пасть заградила я, с радо-
стью сообщаю, что если где и осталось каких,
они сами придут к тому мнению, што их не надо.
Здесь такая вода, какая есть, какая
и земля, и прочая пиррихия мировая,
что намедни по кабелю аггелов видела я нагих,
о том скажу, ибо твёрдо знаю: завтра
ветер меня сметёт отовсюду тучей до малых сих.

10

Птимор собирается за́ море.
Бог знает когда вернётся.
Вот уздечка вставлена в зоб динозавру
и в зелёной воде карета расплавлена,
вот какой кружевницей проявлена
плёнка и третье (зелёное) око смолкой течёт,
видит волосы у Птимор чернее снега,
а груди Птимор, как звезда Омега;
огласи же, ворона, слова, какими
я представлю тебя Харону.

11

(упр. №418 из анонимной «Грамматики елисейского языка»)

Чертами и долгими резами он украшает себя,
в зеркалах сиенской бумаги он отражает наше лицо,
наши руки везут его по вечерам на степенный мост,
лев и жолудь в его деснице весьма прекрасны.
  — Хвалим тебя от каждого дыма, дыме небесный!
Из вороньей ракушки мы подымаемся ясной полночью,
чтоб найти тебя в одеждах твоих со зверинским обычаем,
клеть грудную свою ты даришь нам, лилию полей,
в рудном горе твоём весьма благоухающую.

— Телицу и отрока приносим тебе, мирострунный царь!

12

(киевское)

Что держит горе скакуна
на каменноугольной тверди,
что речка сильная течёт
среди распахнутых окраин,
поёт бессмертие души
иль душ клубок недоумерших?
В той пропасти, где мы с тобой
вязали день, как рукавицу,
минойской эры кипарис
растёт рогатым корнем кверху.

13

Элияху, шут крови, родился двенадцать раз,
на тринадцатый души его возревновали
о бытии безначальном, летучем голландце.
В целом мире, он думал, кто бы кого ни спас,
спасается тот, кто остался в его скрижали.
Вот вам путь, человеки, его закона,
говорил он, и серое месиво слушало через окно,
как должны танцевать умирающие от танца,
чтоб хрустящая кровь скребла по хитину дно
перелётного сердца полуночного гаона.

14

(на смерть инфанты)

И вот я прошёл по влажным глазам, как по сухим,
по телам безмолвно лежащим бездонным твоим,
в чистое поле бездомное на выдохе Элохим,
отсекая от тела огня безвоздушный дым,
что твои тонкие колоски мещут по долгим грядам,
так воронка от них струится к шести ветрам,
отпирая тяжёлой воды ключи под рекой Адам,
дабы слёзы текли по венам падающим голубым,
как и в прошлую жизнь химера по влажным следам

за тобою текла, насыщаясь хлебом твоим, вином.

15

Антей девический в локоне самоцветном,
изловчась, глядит за полем заветным,
командор и корсар своих лебедей,
ни нагнуться ему нельзя, ни очнуться,
чтоб не выпасть из полной смерти своей.
Как хотелось ему вернуться
к птичьему стану, где льды сочатся
из кристалла, спуститься с летучей горы
к светлым векам сестры; они остаются,
оставляются, вот они — ждут остаться.

16

Разве взгляды посеянных в смерть тяжелее
молота,
оттого что к ним не придёт орфея,
разве чудо нужнее чудес?
Или твёрже они от этого холода?
Мы ведь ждали убийства, но здесь
умереть своей смертью дороже золота,
а воскресший из персти не знает,
зачем к нему ходит бес —
за кого он его принимает?

17

От нищей душеньки тебе
купец привёз уведомленье
о том, как божие творенье
заутра мучилось во сне.
О! если б жалкие слова…
а то полночи в изумленье
глотаешь грады и селенья,
чумой летишь на острова.
Прочти ещё стихотворенье,
оно запомнится едва.

18

Мы думали, что смерть за нас горой,
когда среди цыганского напева
услышали о неразумных девах
таинственный куплет переводной.
  Она застынет жалобной зимой
  в подвале между туш одервянелых,
  чьи фаллосы разбуженной волной
  небесное поддерживают тело —
хоть на невесте фрак и котелок
древней, чем этот чёрный потолок.

19

Вот зачем с тобою говорит,
вот откуда это говорит,
раскалённый костяной узор
бездны тела целится в упор.
Вот разрез, который говорит,
флейта, обгоревшая на вид,
шелест пламенеющего льна,
под зелёным ветром ты, волна.
Вот, который будет, говорит,
вот бездонный остров говорит.

20

Не остров, а гора,
не тело, а взгляни:
зелёное — игра,
проигранное — ночь.
Над кожей пульс воды,
плеск речи на волне,
мы в зелени его
безумья сочтены.
Ещё вчера во сне,
и смерть ещё вчера.

21

Спал и проснулся на семи холмах.
В холодный полдень тишина врастала.
Бездонная, из жидкого металла,
лилась дорога в огненных кремнях.

Когда мы разгадали этот прах,
зелёный луч над нами стал багровым,
но золото — не возвратилось словом,
записанным вслепую на полях.
Двойной язык, забывший умирать,
разломанная надвое печать.

22

Приснился ивану на патмосе страшный сънъ,
кнут и пряник сугубо ему приснились,
свет, плоский, как море, выгнулся колесом.
Это такое, наверное, горе,
чтобы его описать, воспользуйтесь буквой азом.
Я же не виноват, говорит иван, что они появились,
а та, что за ними шествует, вообще одета в виссон, —
словно в мозгу взорвалась ракета:
были красный, зелёный и золотой фасон,
а в результате ни единого цвета.

23

Белый день сидит заплаткой
к тёмной мантии земли,
сверху виден мостик шаткий,
а под вздыбленной брусчаткой
отдыхают корабли.
  Снизу — чёрным померанцем
  вал небесный и земной,
  как колодезное царство,
  шаровой накат пространства
  и последний шаг за мной.

24

(вторичное исчисление песчинок)

Журавлик милый, почему
нет чисел на луне?
Дома без счёту шли в песок,
без имени — уста.
Пускай от лунных городов
остался только дым,

из дыма как связать тебе
на три узла платок?
Свет на́ свет лёг — открой глаза: огонь от дыма занялся,
и день холодный, как стекло, длиннее и звёзд, и любви.

25

Спи, моя ночь! Тихие воды,
бедные звери плывут в тишине,
добрые тают на блюдце народы,
они уже никогда не сойдутся
в чистом поле, на милой войне.
Все от себя, как есть, отвернутся.
Спи, моя ночь. Густое бренье
смоет вода, чтоб дышало под ним
тело, лежащее глазом сплошным
с голубою радужкой воскресенья

Парижский сплин

Гренадёр шевелит костяной ногой
под арабской весёлой луной,
в то же время в фонтане сидит другой,
но его сейчас увезут.

Гренадёр достаёт из кармана вот,
на котором роскошный бант,
но в него уже целится третий, тот,
кто расплавлен в речной воде.

Кто конкретно расплавлен в воде ручной?
Это знает рыбак чумной.
Это в лунном луче лучевая кость
пробивает тебя насквозь.

Не затем ли вставала с пустой свечой
и ждала огня от него,
что четвёртый никто во грехе течёт
под весёлым мостом Мирабо?

+++

Дальше последует то, чего
я повторять не хочу, —
мёртвое зарево, рождество
в душной бронхитной спальне.

Вот он сквозь свет прижигает лоб,
входит ножом в уста —
и позабыла дыханье, чтоб
выговорить: рассыпься…

Дальше последует плен, война,
красный кишлак в снегу,
зыркнет Парис в колесе окна
с псиной осанкой страха:

«Это, сестрица, звезда светла,
это она бедна;
я проведу тебя до угла,
дальше — иди свободно».

+++

Бог, приходи ко мне на ходынку,
принеси в ведре нефтяную льдинку,
мы полярником населим её и медведем,
если что, мы сами туда поедем.

Среди ночи земля оказалась твёрдой,
и уже не удастся присниться мёртвой
девушкой тем, чьи глаза открыты,
даже если полночь и всё забыто.

+++

Когда они сидели в полутьме,
им тварь казалась мелкая в окне,
под покрывалом, в душном шушуне,
владычица и тень для понятого;
сквозь стёкла шёл ледник внахлёст лица,
горбатый мост и скрежет без конца,
как будто запрягали мертвеца
в пожарный шланг с вокзала воровского.
Чуть свет, уж на ногах, как на убой.

По влажным медякам нашли, в какой
земле вставать из ямы ледяной,
и расставались, и сходились снова.
Запомнили, как труд, весь этот чад,
по переулкам шлялись наугад,
пока бесстыжий проходил обряд
и зеркала трещали от улова.
Пусть это был бы праздничный десант,
иль пусть хотя б один вернулся сам,
а так — опять погром, и по глазам
убийц гадать, и холод в полшестого.
И эта тень под крашеной стеной,
как будто во вселенной выпускной,
и говорит, и сеет надо мной
беззвучный дождь из облака ночного:
— Ведь это я молчала, как во сне,
на всех пирах и в каждой стороне.
Я и в снегу голубка, и в огне…
— Пускай. Какое дело мне?
Какое слово?

Иссопы&Платаны

1

Рабиндранат Тагор так говорил: жизнь длиннее,
длиннее смерти, и что хочет делает с нею,
как иссоп, вырастающий из платана,
раскрывает земное тело в латах и спицах,
спит со мною узнать, как шла на дно колесница
под фасетчатым глазом выключенного экрана.

У земли есть небо и демон, и он — который,
первый первенец, после антракта раздвинет шторы,
где яд платана и соль божией девы.
Боже, пошли ни за что ей раннюю старость,
как труп, заверни её в чёрный парус,
пусть сама не ест и губит посевы.

И пусть в теле земном шевелится небесное тело.
Что за пресепио, где ни звезды на стенах,
где ни самума, ни снежных хлопьев?

А вода из экрана сочится, как будто рядом
стоит Денница, и жизнь оборвётся садом,
как платан, задыхающийся во иссопе.

2

Птичка божия знает,
зачем сидит фазан.
Земля вкруг земли летает,
испускает духа платан.

То мельник ручной намелет
всё, что станет быть впереди,
то сильное море синеет
у неё на груди.

Случилась со птичкой рыбка —
в том, что ничего не поёт.
Ах, злая ошибка!
Бог даст её и спасёт.

А за дверию жгут иссопа
на немедленном огне,
и самой лучшей пробы
свинец подарен земле.

А что нету того другого,
ясно ей без конца,
что не страшно увидеть бога
обнажённее мертвеца.

Потому-то что и случилось,
что лучше места сыскать
там, куда говорит «счастливо»,
но очей не смеет поднять.

3

Сказала Яна Неба Яне Ада:
всё, что мне надо, глаз твоих, и всё.
Как чернослив они
блестят на черноблюде,
отдай их мне, я раздарю их сёстрам,
они слепые как трава,
они в траве лежат, им тёмно в этой хне,
их три орды топтало на коне,
им кажется, что я хожу с серпом двуострым.

Я, Яна Неба,
я требую лишь глаз, оставь их
ещё, оставь их мне.
И черноплодной девы тень подкошенная пала
на дно с кораллом, мне
она несла их бережно в изношенной
ладони, чтоб, дразня кнутом Отца,
в траншее высохшее море сокрушало
левиафанов брод и землю без венца.

+++

Приход открыт, а поп нейдёт,
толпа зовёт себе собачку,
собачка делает апорт,
приход открыт, а поп повешен,
с креста свисает дикий плод.

Высокий ветер стёкла бьёт,
со всех икон глядит сурово.
Приход открыт и разворован,
там пахнет рыбой с табаком,
никто не помнит ни о ком.

Приход открыт наоборот,
закрыт и разорён, и выжжен,
со всех имён трава растёт,
её огонь и ветер гнёт,
откуда благовест не слышен.

Из-под земли толпа встаёт,
и вся земля единым словом
зажатый разрывает рот.
Приход открыт, а поп, как лёд,
как лёд, и холоден, и страшен.

И расступается земля,
как рассыпается зола.

+++

Клеврет на яузу клевещет,
мол, этой речки берега

в подземных скалах, будто клещи,
сжимают голову врага.

— А как из этого сосуда
везли нам смирну и уран?
Топтали снег морской узорный,
и он в стране моей родной,
ничем других не хуже стран,
он будет жить огнеупорный
и вечно падать за стеной.

— А яхты там когда ходили,
как пену, камень изодрав?
Ты видишь, из огня и дыма
нам дом срубили в пустоту.
Страна моя из лучших прав
пусть мне оставит только имя
монеткой стёртою во рту.

— Но имя ведь волна морская,
впадаем в море мы иль нет?
Кружится снег, клубится свет,
впадают в море злые звери,
волна морская или нет,
волна земная им в ответ
голодные раскроет двери.
Из-под огня пластом и ниц
растёт от края и до края
поклонный лес моих гробниц.

— Теперь я понял всё ученье:
в разбитых бездной черепках
одна душа — одно мгновенье
на вечно сломанных часах.

Так разрешите мне, обоже,
а я уж с выгодой продам,
взамен мечтания того же —
к таким же мёртвым берегам.

+++

Повсюду ставят турникеты и баррикады,
камеры пытки и слежки и взятия с поличным.
Там, за стеклянным свинцом фасада,
глицериновый мозг и приданное ему участье.

И не участник — из-под огня опричник
вышел, кажется, невредимым, и ладно, бог с ним.

Кругом крушат серверы, оцифровывают корридоры,
расстрелы проводят бездарно, унылость будней.
Нас расстреляли за разговором
о смерти, но смерти всё-таки не получилось.
И не попутчик — господней бездны наводчик
устраивается рядом, ну всё, забыли.

Как будто зима прошла и я сыт снегами,
и все, кем я был, шагают по мне рядами,
безвидное знамя плещется в отмели телескопа.
Там, за стеклянной грядой, мне отмеряют имя
и продолжается початая здесь работа:
камеры, звёзды, зеркала, плацента, ночь.

Я же хочу, господь, чтобы меня
не было видно
в сказочном хаббле, как и тебя, господь,
чтобы как отрок жить в тереме из огня.
В самую сердцевину
посели меня, сунь, затолкай как дым сапогом.
Расскажи мне ещё, как в печорах люди живут пустынно,
встанут с востока и долго идут гуськом
поглядеть, какая душа хороша, а какая постыдна,
и ни слова об этом не говорят языком.

+++

Недоверчивая вечность из экрана сонным роем,
льётся битый позвоночник — разговоры на арабском,
тусклый ветер и — пощады от любого, кто навстречу.
(Царь небесный или птица? След раздельный или слитный?)

Словно морем нарисован, человек стоит оприч но
у помарки кинотеатра, где направо до гражданской,
мимо торжища немого, мимо баров и аптеки,
двадцати столетий мимо, конь о конь, едва качнувшись.

Кто глазел на эти стогна, на безлюдное поземье
кто стальные реки ладил, чтобы всхолмь они всходили?
Сваи парка-людобора раздвигают это утро,
это облако, которым никогда никто не станет.

В тёмном море чтоб родиться, рассердим волну большую,
только капля это море, и не взять его пролива,
только вспенится бурливо день непрожитый случайно,
обнажив другую землю, твёрже смерти и молчанья.

Холод древнего наречья и альпийские колонны,
на испорченном буклете перевёрнутые буквы,
гид породистый вещает на руине колизея:
мы давно его ломаем — с первых дней как он построен.

Тесный уличный подстрочник перепутался навеки,
слишком сбивчивым дыханьем дышат вязы у порога.
Неужели это место? Слишком тёмный блеск на стёклах,
словно, запертый веками, свет отпущен восвояси.

Из толпы текущей мимо — лошадиный хриплый ужас,
на мосту легионеры ни о ком бросают жребий,
камни цезаря шагают по сквалыжному проспекту,
заходя в слепые лавки бодрым шагом изувера.

В слёзном крошеве ресничном растворяется осколок
наведённого, как линза на газету, нестроенья.
Чорт с посудиной пустою масло давит из брусчатки.
Перепрятанные прятки. Перетёртое печенье.

Если ты стеченье звуков, смертных губ не разомкнувших,
пусть пока тебя не тронет обессилевшая память.
Я узнаю створ вокзала, безымянный гулкий воздух
ляжет мёртвой чистотою вдоль пустого ниоткуда.

На иззябшем перегоне, в стёртом ластиком вагоне,
ты глядишь, как мир стихает на раскрывшейся ладони
и внутри огромной тени узнаёт свою победу
с детским профилем и ваткой на ужаленном предплечье.

V [вторая египетская тетрадь]

+++

Когда в полную меру рассеялось золото-шафранное солнце
и шестипалые руки вражды, запирающей двери тюрем,
в длинных кобальтовых реках, бьющих из-под земли,
оставили след, от которого шарахаются машины —
в бреду смертных поколений — лошадиная доза грядущего,

ты нисколько не даровала мне ужас,
без которого я на земле — только треть человека,
треть — в кратком поиске и в разочаровании кратком;
две же другие — Венера и Марс — старуха и цербер:
та со вставною челюстью, этот повешен, —
сколько милей им столетья глядеть друг на друга,
напополам раздирая нежную твердь.
                Третий, я,
мог бы их примирить, однако не́ дан мне ужас,
лёгкой дружбы не оставлено мне и любовь взята от среды.
  То-то же толпы песочных мощей, выходящих из зала
после сеанса фильма с адекватным героем, ты сосчитала
и видела, как один, наклонившись к другому, сказал: «идём»,
словно из этих двоих один и вправду умел говорить,
а другой расположен был слушать, словно бы ужас
между ними уже пролёг и бритва сложилась створчаткой,
а не чистый звук, вброшенный между двух плоскостей,
который уж раз отразился с такою ненавистью к обеим,
что, даже если хотел бы вернуться к истоку,
никто и в безумии не признал бы его своим.

Папирус

На папирусе птицы и демоны
в разные стороны разлетаются, пока
ты допиваешь кофе, слушая
скрежет заострённых крыльев по жёлтой трухе.

Я хочу прочесть надпись, но вдруг же она
окажется только ветхой египетской бранью,
расписаньем кормёжки сфинкса
или, увы, рисунком мумифицированного младенца?

Когда ты кофе допьёшь, или чашка расколется беззвучно,
когда ты кофе допьёшь, или если смерть придёт раньше,
птицы ворвутся на западный край,
демоны растерзают волокна востока.

Но задыхаться от жёлтой трухи, наполнившей комнату,
или чувствовать мягкую рвань под ногами —
чем же лучше, нежели глядя в центр пустого папируса
следить, как стремительно расплывается пятнышко кофе?

+++

И уже в который раз я вспоминаю это облако гнева
над Монте-Сьерсо, этот дышащий каменный шар,
то ли нового солнца яйцо. Воспоминаемое крошится,
в тени его жеребёнок личинкою вьётся бесследно.

Может, я въехал в столицу по сверкающему шоссе,
может, в моих расчётах во́ды числа́ расступились
и в ступни вошёл острый блеск мёртвого дна,
но вспомню лишь каменный монгольфьер среди мёртвого дня.

Воспоминаемое крошится. В тени крушин жеребёнка спасают
от ветров с Монте-Сьерсо, разверзающих такой ясный полдень,
что свет, будто талая взвесь, дрожит в потрясённом воздухе
и мне всё равно, какой из миров подтолкнуть к крушенью.

Abuse

Вот, пожалуй, вечер, купленный за копейку.
Проспект искрится пневматической почтой.
Сегодня любой возьмёт тебя за руку, поведёт
в недрах сумрачной вазы, где стелется зной.

Каждый, кто встретится тебе, привык спасаться
от постыдного ужаса и красоты постыдной:
лепестки медузы свирепо глядят:
на востоке столбы поднялись.

Нет, ничто живое никогда не живёт
более получаса, но всё же ты хочешь,
чтобы ведущий тебя оказался заботлив,
и вот, пожалуй, он смотрит на тебя с положенной нежностью.

И если возможно, что всё время на деле
он шёл за тобой, будто вырван из круга своих спасений,
то эта привязанность, пожалуй, была бы сильнее
любой душевной привычки, редеющей в темноте.

Ты волен счесть это своим, расплатиться этим с долгами,
но это бедное небо, увиденное тобой в ночи,
ничуть не больше человека, в котором
также погасло солнце — через полчаса по восходу.

+++

Пойдём же, Мао Цин, посмотрим на лошадей
после их смерти, или увидим другое диво:
мальчики, поджигающие степь,
старухи, тускло жующие безобразную тушу.

Очевидно, что я был лётчик, хотя неважно,
ведь ниже ночи идут по земле, и мы
крадём очертанья у встреченных нами.
Я встретил тебя в ночи, Мао Цин, я услышал
твой плач из воздушной ямы, я
протянул тебе руку, сказал: идём.

Пойдём же, Мао Цин, смотреть на посмертных лошадей:
их копыта хрустят по стеклу, под которым
в язвенной поросли без образа души толпятся,
чей выдох, начавшись однажды, длится уже в позоре.

Я был зияющий лётчик и сжигал степь за степью.
И всё же моё дыхание было лишь
краткой отсрочкой твоего. Рядом они лежат,
рядом в погасшей степи, чтобы я видел,
что мир начинался на выдохе,
чтобы ему невозможно было продлиться.

Я хочу увидеть лошадей, чьи глаза прозрачны,
хочу увидеть лошадей, которым высекли рёбра.
Я был лётчик, зияющий шар, Мао Цин,
краденый образ, чёрный фосфор, стекло, лёд короны.

Далёкое дыхание льда

Нам прислали книги и янтаря
среди летних вакаций, меркнущим вечером.
Чёрная птица взошла в ореоле луны,
и вода цепенела в змеиной листве.

Вечность казалась нам в человеческий рост,
и власть над ветром и солью пустого моря
была чуть дороже игрушки, случайно подобранной,
с утра нас окружали столетия наших деревьев.

Может, когда-нибудь кто-то войдёт в этот дом,
увидит книги, хлыстом иссечённые в вату,

скользнёт по мышиной стене к янтарю,
отёкшему влажной полостью местного солнца.

И опять поверишь любому, кто причинит тебе зло,
там, в городах, приспущенных, словно флаги.
Дикий сизый листок с надписью и без надписи,
и ветер без усилий взрывает полые камни.

Всё подогнано друг к другу с первозданной точностью,
и если я иду, раздвигая рукой холодные травы,
там, где речь, разбудившая нас, тихо упала, прощаясь, —
божественное великолепие. Божество усаживается рядом[1].

---

[1] Nostr. Cent., I, II.

+++

День четвёртый настаёт, и он раскрывает все окна в квартире,
выветривает стены, пока они не обвиснут, как
тропический фрукт под рукой любовника-северянина.

Как будто он обручён, обезвожен, как будто в его глазницы
продета уздечка и каменный круп восседает.
Легионы держат его глаза.

Но он, вероятно, слишком милая тень или логово Командора,
чтоб уступить равнозначной пустыне вокруг
хоть часть от владений безжалостного наездника.

И охотнее этого мора дневные стены бедного воздуха
ангелически отражают, пусть безнадёжно, последнее,
что ещё могло быть задержано взглядом.

Офелия Бисмарк

1

Надкрылья стальных жуков ломки, как плавленый сахар.
Жгут, тучей перетянуто небо, по нему
без семени проплывает ангел и друг,
развязаны узелки мои, на полу лежат бестолково.

Неумёха, на западе гаснет день, как лобовое стекло,
я же хочу посмотреть, как там стекло крошится
под воронкою кожи, как оно держится, о чём искрится.
О майяский череп! о лирондэй в небесах!

Что тогда эта девочка, как сияет щупальце у Венеры?
Как долгая вода, где моё отраженье держалось
дольше заката, дольше света звёзд и дальних гробниц.
Как бычья шея, мой ангел, мой друг созерцает прах.

2

Оплачено квартиранткой на месяц вперёд моё
новое тело; новая, я выхожу
из семивратного Бранденбурга под дождь.
Шёлковый зонтик мой трепещет, как пёрышко.

Впереди ещё месяц, дура, как же я расточительна.
Только месяц, чтобы привить себя, вырастить иву,
под лозою кромешной открыть глаза:
wo ich jetzt bin? was ist die blitzende welt?

Дождь хлещет нещадно, что жид хощет меня украсть,
но мне выдан самый жалкий из месяцев, и вряд ли успею
обжить себя, как в Нюрнберге, помнишь, туча росла,
и сын короля и болонки дрожал посреди сырой площади.

3

Ich bin der Schneider Как… [играя Бетховена]
Я расколола себя на миллионы частей. Девочкой
у реки, подобрав подол, я до блеску их натирала песком,
и огромные лилии беззвучно шли по лиловому небу.

Но теперь их венозная тень пролита; в шаге отсюда
разросся терновник, как дымчатый собор; здесь
я перебираю свои стекляшки, пытаясь расставить их
так, чтобы сразу они меня отразили — меня! как браслеты они!

как толчёная ртуть! одна другой не страшнее.
Как сквозное дыхание друга, которому веки сомкнула
вдоль этой долгой воды, — в их коконе я умираю
без звука, но разве кто-нибудь может это назвать тишиной?

Полюс

Я должен прямо стоять на земле.
Ветер утих, и звёзды составили
новое небо, так податливы они здесь
любому движенью, в зыбке нынешней ночи.

Ночь блажна; ну что я за лыжник?
Хле́ба не брал, заигрался снегами.
Впрочем, разве возможно опоздать
туда, где тебя не ждали?

Да и не было здесь пути: опушка
сне́га внутри круглого неба;
или, может, просторен он был настолько,
что ни о чём другом и речь не велась.

Карты не нужно, и нечего описать.
И только устав блуждать по белёсому полю,
остановился и понял, что добрался к цели.
Тогда от листа наконец отвели перо.

VI [ясность]

Слепящая высота

В запруде стёкол бьётся
твоя рука
уже потерянной
ловчицей снов, волос и грязи.

Отхаркивая сполохи деревьев,
отвоёвывая
расслабленное побережье, где
купальщикам расставлены столы,
к ужину их жёны ждут,
оплывшие, с огромными глазами,
от бесполезной вечности своей.

Красной мартовской сечкой
вбрызнута
в воздух память —
как мост без опоры: летящее;
как ожерелье: рассыпанное;

в этой мелкой кровянистой муке: настоящее
пламя.

И я не продолжу,
не прослежу за свернувшим автомобилем,
его троекратное блёклое
эхо в развилке стёкол оставлю
небывшим.

Красное, в оснеженной черноте,
воспалённое, поднимается,
мёртвое, долгое, ниц.

Тысячи

Все толпятся у входа
в надземную готовальню,
все причащаются,
несмотря на холодный ветер.
В последнее время
лгут только метеорологи,
это наша крайняя линия обороны,
их ничем не исправить,
можно лишь расстрелять.
Давайте займёмся этим.
Мужчина, что с вашим лицом?
Оно слишком много себе позволяет.
Я кладу на глаза кирпич,
я кладу на глаза коросту,
я посыпаю глаза марганцовкой,
я развожу грибную культуру.
На клочке, говорят, открыли
новый выход — тэобразный
надрез.
Господи свят господи свят господи.
Третьего дня мое тело
стало нагайкой — вы слышали
этот тонкий еловый свист,
когда я хлестал им по окнам?
Тра!та!та!та!та!
Если бы вы действительно хотели
стать руководителем среднего звена,
вы бы прежде всего научились плеваться:
плевок должен быть отточен,

весом и аргументирован.
Я хочу ссать.
Давайте не так толпиться, народ,
ваш номер — номер последний?
Птицы летят! летят!
Уберите ребёнка: задавят.
Птицы:
одутловато повиснут
как ёлочные шары,
сквозь рдяное млечное впавшее озеро
цинковым агнцем набрякнут…

Я кладу на глаза кирпич,
я кладу на глаза коросту,
я развожу в глазах спирохету,
я с полусна не размыкаю глаз.

Тысячи
от лоснящейся черви
сквозь проталины дна
вытекают.

+++

Сильфидка,
обречённая сдохнуть,
ты, что шляешься
низом по одорожью,
выщёлкивая
то грязный шлепок,
то укус шпильки,
дёрнувшись от бесшовного холода
лезвий, проглоченных дряблым горлом,
ты пялишься грязно
внутрь бумажного автомобиля
[раньше их дети делали
по десять штук за урок,
сейчас — титаны]
возбуждаясь от зеркальных сгибов листа
[и вдруг разлилась
тончайшей альтовой пряжей,
звонница адриатической пытки
в прохладном тумане!]
Где-то ожесточённо шли

годы и годы в
сознании собственной неприменимости.
Чай разливала сестра, звеня
стеклянными створками шкафа.
Лимонник расцвёл к январю.

+++

Ночью по нашему многолюдному дому
ходит горе, стучится:
подглядывает в замочек,
в дверь звонит и сразу же убегает,
гремит по чужим кастрюлям,
рисует на стенке хуй,
с кем-то ссорится, яростно, торопливо —
(ну как тут с соседом разговорится?) —
может, волк оно или волчица,
а под утро врывается,
забирает, кого придётся или
кого случится:
это нам только кажется, что случайно,
а у него список.

+++

Камни и племена
после мучительной крови
так желают чашею быть, где видимый
тлеет в ненасытной гортани
костёр бедуина.
Гром
прежде войдёт в твой распев,
чем губы, разжатые воском, ты приоткроешь.
Как брошенный камень, гром
кочует
из-под века в пугливую сухость
губ твоих, гром.

Озеро

Палящая
гладь: озеро
снова разбито,
корни толкают зеркало
снизу — и тут же
проезжает автобус.
Я проезжаю в автобусе,
мои лица
вырезаны садовыми ножницами
из стекла, из запаха
делового бензинного уюта
выдвигается
зашитый леской рыбный
рот; молча
лови рыбу, удильщик,
наблюдай за холодным холмом луны,
неисточающей света, в подробностях
изучай его
с горизонта; молча,
в деталях.

Обрести воду

К ним ночами
сходятся пленники,
по полу вьётся дым.
К ним удивлённо
тянут руки
задохнувшиеся во сне,
гудит распалённый бетон.
Не важно, какими
словами ты пользовался,
чтобы уснуть посреди
убелённой трупами площади,
покамест над ними
восходит слепая пыль утра,
ты учишь по замершим ртам
этот марш воды,
пепел воды,

голод воды —
безвинность.

Серенити

Но спрашивать у
камней,
вдоль какого пути,
спрашивать
у лент, затоптанных под бордюры,
цвет, направление ветра,
розу ветров обходя,
как обходят неубранных мёртвых
с их досадной манерой
пафосно позировать из-под ног
прямо в твиттер.
Серенити
скушно упрётся в твой мозг,
когда ты выйдешь из лифта насквозь
целым [и сверху, и снизу
в трещины льда, единясь,
во́ды прольются]. Серенити
проведёт тебя между свингующих автомобилей,
лавой курточных скал,
молчаливых гипсовых лиц китаянок
в тот приоснеженный двор,
где на сорванном пульсе
[пламя и колокол вожделенья,
бросок травы и змеиная хища]
била и била волна:
единство,
чужое, враждебное,
обледеняя ладонь к ладони,
к ветру лицо,
и к ветру лицо подними,
и привыкни губами
от ясности той, что сюда привела,
к той,
что стирает любое откуда
[тихие камни бессумрачны на просвет,
на лентах написаны
молчащие имена]

+++

И всё
неизменное
волнами бьёт мне в грудь.
Чья-то птица сорвалась
прямо с земли, неподалёку —
шорх —
будто слепое пятно скользнуло
во взгляде.
Остановленный
краем,
я думал: когда-нибудь
в этом тяжёлом море утонула
колонна круизных, разбитых огнями лайнеров,
с гирляндами,
с поцелуями сквозь рейвовый смог.
Будто во сне, потянувшись, птица
легла на крыло, к востоку.
А после,
вне всякого чина вода
сомкнулась в бесконечно огромный
лазурный шар,
воспетыйещёгомером.
Удар —
и всё неизменное
швыряет волною мне в грудь.
Вглядываясь,
я думал,
что между продолжить и завершить
есть достаточно места,
где плещется это море.
Ещё чуть-чуть,
и беглая память уснёт под его холодным напевом,
как птица в гнезде.
Но гнездо опустело,
и всё
неизменное
разлетается в хлопья
перед моими глазами.
Снижаясь вдали,

птица медленно сливается с горизонтом.
Тяжелые крылья её
касаются друг друга, образуя
круг, уже за моею спиной.

VII [блаженные мёртвые]

+++

Хоздвор горит за абрикосвыми деревьями —
там битва, наши сражаются со неверными,
чорными и пожарными окружена окрестность.
За хоздвором земля впадает в неизвестность.
А здесь она впадает ожидаемо
в на той неделе полуснившегося даймона,
он бледный-бледный с навершием моргенштерна,
а я к его ногам приставлена задверно.
Вот в алюминиевый чайник жалобка
упала дуре мне вместо парубка,
а что с ней сделаю, завешено лесами.
В лесу мне гроб живёт с невидными глазами.
Ка та стро фически отказываюсь от наследия
тех кто мне впаривал, что я бессмертная.
И — примечание — вообразите-ка причинность:
ну вот я кончилась, а что случилось?

+++

Я слушаю тебя, недоброе,
желтушной лилией разбитое.
В окне смятение, и гарпия
царапает стекло простудное.

Я слушаю тебя заплаканной,
французской булошной за окнами,
по оптоволоконной линии
тебя я вижу, волоокую.

Не плачь мне, девочка разутая,
что потемнел фонтан на площади,

что лики господа подземного
объели ножки муравьиные.

Я успокоюсь тем, что умерло,
тебя я успокою веточкой,
умрёт весь город, успокоенный
твоей улыбкой безвоздушною.

И нету слова продолжение,
и нету неба притяжение,
и приглашенье отменяется
на завтрашнюю богородицу.

+++

Возле капуцинки крестоцвет
растворяет мраморный паркет.
Виден моря розовый платок,
ожерелье тает между ног,
в узелок продеты города,
где цветёт крестовая вода,
где по пояс холод лучевой,
и не будет больше ничего.
В итальянском тёмном колесе
ты дремала с рощей на лице.
Капуцинки смуглая рука
по тебе скользила, как река,
чтобы цвёлой чёрною водой
на кипящий рот пролиться твой,
на цветок, врастающий в крестец,
будто умирающий близнец.

+++

Над газовым ликом склонясь,
сидела, губу закусив.
Безвольные руки, и вальс
из пальцев звучал напрямик.

На крышах горели слепцы,
детей ослепляли отцы,

чтоб свет из бумажных глазниц
ласкал неприветливых птиц.

И юный отец за спиной
сквозь запах растерзанных птиц
слепой рассыпался стеной
прозрачных под вальс огневиц.

Скорей же, прозрачным огнём
убей своё имя и дом
и газовых сладких ресниц
коснись обезумевшим ртом!

+++

По окраине еврейской
мотоциклами с коляской
долго ехали могилы,
слышала ли, Галя?
Словно кладбище живое,
проезжали без конвоя,
устремив в жидовски рощи
томные глазища.

Где варёные окурки
разводили на касторке,
где цедили из цыбули
кровяную цылю,
дребезжащей вереницей
шли бездонные гробницы,
чтобы в поле потеряться,
чтобы в них ложиться.

По еврейской кочевине
клёкот носится вороний:
Уходи скорей из дома,
как услышишь Думу.
И, в разваленную хату
развернув мотопехоту,
по пустому переулку
сохнет похоронка.

Жиде чёрный, узкоглазый,
от последнего обоза
с конфискованной тушёнкой
отмахнись ушанкой.

Что тебе души воланчик?
Что над нами небо прячет:
или землю, или пенье —
сонное прощанье.

+++

1. В нарым поехал государь,
чтоб подыскать себе молодку.
Под ветром гас лихой фонарь,
трясло отеческую лодку.

На крестный путь и добрый час
благословил его создатель:
кому — перун, кому — приятель,
а нам — подземный дикий спас.

2. И в то же время на ветру
народ невидимый ярился
и голову рубил царю,
и голой голове молился.

А голубь голову листал
голубогранными когтями,
как будто снова между нами
холодный ветер перестал.

+++

У Фавста медный глаз, а что же делать?
Он видит комнату с завешенным плафоном,
оттуда труп выводят бесполезный:
обмотан по ненадбности лифоном,
он падает на кафельный ледник.
У Фавста глаз холодный и железный,
он трогает рукою прутик,
тот прутик в мозг его проник,
а там внутри другой такой же прутик
накручен на латунный маховик,
но обесточен.
Не соболезнуй Фавсту, доктор Врач!
Он обещал, что мир не будет точен,

и вот упал с разделочной доски,
под электродом плавятся виски.
Теперь, покуда он разлочен,
мы можем взять его под локотки
и, выведя перед народом,
пустить в пространство автономным ходом.
Он холоден, горяч, он в дорассветном сне
гниющий свет разбуженных обочин.

+++

Человечек изнутри
на смущённый воск похож:
бледномягок и застыл,
прилипает и никто.

Можно шариком свинтить,
дважды ногтем прищемить:
улыбается — и зря,
растекается и всё.

По клеёнке раскатав,
ну-ка, ухо наклони:
что-то шепчет или нет?
То ли дышит, то ли вздор.

Мы продавим пальцем в нём
два шажочка и уйдём.
Пусть другое кто-нибудь
по нему продолжит путь.

+++

Воздух, стон и сад сошлись
за расшатанным стеклом.
Кварцеватель смотрит вниз,
не воскрес ли кто тайком.

Тишина, шатнув окно,
слепо бродит вдоль стены.
Воздух, сад и всё равно,
чьей заботы лишены.

На ланцетный светоряд
нас возили посмотреть.
Видишь, стёклышки горят?
Так и нам с тобой гореть.

Воздух, смерть и я сошлись
на последнем языке.
Обернись, переменись —
свет играет налегке.

+++

Слюбились козочки с картинками,
живут по небу паутинками,
за их серебряными спинками
воздух трепещет.

Их гладят влажными салфетками,
пытаются назвать левретками,
над рассужденьями их меткими
думают трижды.

Им можно на луну отправиться,
чтобы луне впотьмах понравиться,
никто ведь лучше их не справится
с лунной печалькой.

И, чтоб бессмертия эссенцией
обрадовать и Рим, и Грецию,
их варит в облаке со специями
доктор малахов.

Глаза раскосы веретённые,
и пытка им родиться в тёмное,
и шьётся им сукно зелёное
вместо холстины.

На что повадки их звериные,
но приложи ладонь к картине, и
увидишь, что одною линией
вас рисовали.

+++

Сегодня такой разговор
до слуха дошёл моего,
как будто бы вечный топор
над нами стремит естество.

Один говорящий был нем,
другой был подобен траве.
О, как разговор их повем?
О, как разговор их повем?

VIII [среди земли]

Строгое Меро

У порога река
разбивает свои листы, течёт,
дважды входит в мои берега, на которых
голосующие драконы:
вот — зелёный дракон, сильнейшая сила сил,
и рот его алой измазан глиной,
никуда не успеешь уйти, он тебя засечёт,
вот красный дракон, что связан навек паутиной,
а вот он, бесцветный,
незаметно вошёл в мой расчёт.

Я что, гимназистка, чёрт,
у меня впереди мерцающий огнь,
топну ногой — и рассядется мгла,
пылью раскатится в дёснах зола,
страшно на небе луна проснётся
голубою иглой в мою бедную кожу,
и вернётся, и вертится — страх — мне страшно — о, как я ещё жива.

Думай о мне, говорит мне сестра трава,
думай, сколь многое значит вот эта лемма,
порождая вон ту о я кто
белая тварь со стеклянной венерой во рту.
Я скажу всё, что твердил мой учитель:
в голубых ободках австралийцы едят эвкалиптовый
твёрдый хлеб,
застрелиться хотела, попасть в Эреб я,
сапиенс,

креденс,
страшнее меня не бывать никоторому чёрту,
кормовую мою кровать
пусть в траву уложит сестра вечорка.

И я выйду,
и я буду Строгое Меро этого лета.
Я не слишком ли блядь раздета,
для того чтобы брезжить под утро
сквозь прохладную нежить
едва, едва?
Где-то ухнет сова,
сверху рухнет моя полова́ —
половинка того,
да и этого тоже света.

Так ещё бы немного, но
не сосчитаешь нас —
всё равно я останусь в сухом итоге —
вот надежда моя и опора,
что я сплю этот сон изнутри твоих глаз,
но скоро, скоро
перепутаю, господин мой, ноги, чтобы
не встать ни с которой.

Среди земли

Среди земли приснилась мне
луна в чугуевском депо,
где с молотком наперевес
шла половецкая орда.
Колонной речи метроном,
луна в составе ледяном
плацкартой медленной текла
вокруг железного узла.

Вокруг распавшихся пород
пустого леса шли зубцы.
Как речь, к перрону поднялась
безглавая больная степь.
И там, зияя надо мной
лица сходящейся волной,
как камень бьёт наперебор,
глаза расстреляны в упор.

Измучив колыбельный лёд,
толпа лепилась под стеклом,
меняя головы, как хлеб,
на бесконечный гул вдали.
К посадке бросили кольцо,
и тотчас, сняв с меня лицо,
подлунный свет слезил проём,
где смерть, как соль, текла ручьём.

Взлетает в небо пустота,
взлетает поезд по земле,
холодный лес летит внутри
распахнутого никогда.
Взлетают, тяге вопреки,
пустые горлицы с руки
и в лунозём меня кладут,
как богоизгнанный сосуд.

+++

Месть оставившему — родиться на пустыре,
плавкие камни где ноют под солнцем, где
казнённое небо пялится в рыхлый жар.
Так ослепительно брызжет из-под руки,
едва коснёшься ею травы́, реки.
Мёртвые веки, сбившиеся в комки.
Сны, что под ними бродят, ещё нежней.
Мёртвые валятся из лесу — видишь лес там? —
тени с тенями бьются за счастье лежать на ней,
этой земле, где находится это место.

mirages

отяжелевшее окно
разваливается бесшумно
из-под земли горячий ветр
рассеивается бесследно
горящий холм на высоте
взойди как бесконечный воздух
на холм горящей пустоты
раскачивающейся лодкой

дома отёкшие тобой
пустынный воздух опрокинут
тобою кончится кино
в раскалывающемся зале
раскроют окна напролом
вдохни рассеявшийся воздух
пускай качнутся над тобой
холмы на высоте бесследной
ты смотришь в тёмное окно
бесшумным ветром опрокинут
пускай горящие холмы
взойдя утонут бесконечно
тобой рассеявшийся день
ещё на высоте начнётся
играя лодки приплывут
на раскалённое дыханье
сочится светлая земля
взойди бесследными кругами
на онемевшей высоте
как ветки окна распахнутся
сквозь растворённое кольцо
пусть над тобою бесконечно
к рассеивавшимся холмам
пустые лодки прибывают

+++

Связной жалится, мол, связь разорвана, —
директива точная вдруг изменится?
Вот сейчас, говорит, я выпущу ворона —
чорт его знает, куда он денется?

У связного падчерица-пиявица
в Тотьму с горбатым мужем уехала, —
он свяжет верёвку и удавится,
говорит, что делать ему тут нехера.

У нашей ведь роты лицо лесовное,
по́ снегу крапинка сердце кунное,
чтобы нас убили, мы спали сонные,
укрываясь от ветра тёплой пулею.

Дорога горит, переправа тонет,
пусть мёртвые сами себя хоронят,

встань, связной, почини связь, —
потому что вокруг никого нет,
только ветер голубку по ветру гонит —
вот она и нашлась.

+++

В белом море нет наяды,
кроме девушки Досады,
рыбок нет и крабов тоже,
и прикормишь — ничесоже.

И кальмара не ищи там,
он на это не рассчитан,
и на берег-хризолит
не выбрасывается кит.

Рыбаки летучей стужи
из нетронутой воды
лепят гребешок севрюжий
и тунцовые хвосты.

А за ужином напрасным
говорят друг другу с плачем:
Нет наяды, и ужасно
положенье наше, значит.

Сквозь завешенную гладь,
обернувшись влажным чадом,
тихо слушает Досада
и не знает, чё сказать.

На взятие града небесного или земного

I

Жестокие стихи, вызубренные брюзгливыми господами
из междуречья леты и флегетона,
эти холодные мокрые хлопья, летящие
всегда вдоль, ни к чему конкретно не прикасаясь,
не оседая

под колёса частного, гужевого, светоупорного,
не подтаяв в ладонях, не выстрелив пулей
в бородатом кавказском ущелье; они
ещё продолжаются встык сидерического трианона,
где нас вываривали в хлорной мазурке
под шарканье ног и гусеничный лязг.
И ты сказал, что жизнь это след?
Тоннель, прорытый ими в этом вареве или настое?
Жестокие стихи, не обращённые к тем, кто их слышит,
не верящие в существование человека,
уклоняющиеся от доказательств.

II

Противник входит в осаждённый город,
и что он видит? Перерубленных весталок
нигде не находит, обглоданных костей
собак не жахнет голенищем,
и для порядка ни изнасиловать,
ни расстрелять,
ни ограбить
некого.
Пойдём, говорит он себе, поищем,
что ли, убежища, а все дома распахнутые настежь,
и не напакостишь,
ибо под дверью
табличка извещает: ты хозяин.
Да кто ж нам сопротивлялся?
Где армия? Противник дома
сидит и трындит,
пока на небе против солнца медлит

III

Фра Доменико вёл дневник из гусиной кожи,
где записывал словечки флорентинских филистеров,

этих мрачных ублюдков, совокупляющихся гнёздами лепры
под детскую песню-качалку:

«Арно, вонючка, возьми гребешок,
покажи нам холодных рыбёшек!»

Фра Доменико шлялся по рыбным толчкам фиорентины,
бузил с голавлями и варнякал на хрящ водомерок.

Тем временем, пока в его дневнике гарцевало кодло,
с пыжом убогую Биче швуль спровадил.

После, сидя в моржатнике, вспоминал удивлённо,
откуда весь день доносилось,

кем, на каком языке отцеживалось,
не с потолка же взялось?

«угодное богу всегда случайно»
«случайно угодное»

В дохлую фиорентину башня кремля вонзилась
и ну елозить, сука,

IV

Мы не хамим соседям,
и никто не тычет в нас обгоревшим пальцем.
Мы рассчитали, что зло конечно,
мы больше не ввязываемся, мы пас, до утра,
обещаем, не засидимся.

Корень, крона —
мироздание льстиво.
У тебя есть монетка, у меня минутка.
Разве бывает проще?
Выходи из дому, ты всё увидишь,
ты увидишь всё, что захочешь.

Тёплым воском пропитанный, письменным узелком
перевязан построчно, город лежит ничком.
Каждый день я хожу на него с заточкой
и возвращаюсь с набитым землёю ртом.

+++

Где теперь твой беглый выстрел,
где теперь твой едкий мех?
Мимо Льва течёт Синистра,
растворяя в горле смех.

Не дойти до дома, чтобы
на простывшую кровать
из больной имперской сдобы
сладкий пепел рассыпать.

+++

Рознь в рознь прошла кругами,
насытился и полдень,
земное и змеиное
сошлось, сошлось ужасно.

О, сжёванный садами
надсмотрщик безрогий!
Заплакало, заплакало
развенчанное древо.

Теперь мы будем вместе,
теперь ты знаешь тоже:
божественное яблоко
напрасно и несладко.

Исида и Дюкасс

1

Розово-алый аквамарин в стене.
Это стекло.
И касание губ золотых
прошло бесследно,
но голос был сух и
звучал бесстыдно сквозь сланцевых стен:

— Безвидна я снова, пуста. О
если бы в эти озёра пришло смятенье,
мне бы из лаковой глубины вернулись
груди целующие, кормящие уста! —

Только вернётся безглазый олень на пригорок
и в розовую глину беззвучно ткнётся губами,
пока ветер стоит горой,
голос звучит,
тихий заморский гость
доставлен без проволочек.

2

Купальщики в реке похожи
на гроздья бежевых шмелей,
повисших в комнате ужасной,
чьи окна смотрят на луну.

Их знак — раздвоенной короны —
над книжной бровкою записан,
им остаётся только верить,
пока за ними не придут.

Пока вода не стала красной,
мы будем тихие колонны,
считать нетронутое время.
Пока вода не покраснеет.

3

Он цедит пурпур
рта, осторожно, власть и мякоть,
раствор глядящих звёзд в опальном зеве рта.
Он говорит: Сестра, приди на милость,
безжизненные руки опустив.
И вытекает тёмный мёд из устья,
зелёный гной в груди дрожит под пальцами,
и взорванное чрево предъявляет
свои сокровища — пугливы и нежны,
они похожи на личинки света
в оставленном гнезде.

Он цедит пурпур из оплывшей плоти.
Невидимый рассвет на ядовитом дне
встаёт среди говна и жира,
и чёрный бычий хер взрывает, словно плуг,
распавшуюся землю.
О сестра из смерти!

И полицейский хруст двери,
но никого внутри.

+++

Я видеть не могу
в хорах твоей земли

испуг бессчётных глаз.

Испуганный трамвай
свернёт куда-нибудь,
исчезнет за плечом.

Скользнувши по плечу,
бесслёзный лисий взгляд
расчертит нам проспект.

Меж камнем и стеклом,
как бечева — удар
пространства по руке.

Чтоб не упасть, земля
коснётся наших ног.
Чтоб не сгореть, огонь.

Но только плеск руки
вдоль заспанных руин:
запомни и прости.

Не голос, не мольба,
но книжный разворот
рассерженной земли:

твой бог не слышит слов,
твой бог убит в бою
за сонный город наш.

Бытовая алхимия

Чтоб научиться числа опустошать,
возьми шестимерный сложенный парашют
(их продают в спорттоварах за полцены),
кости варакушки и гелевый лак Porcelain
(все это найдёшь в каталоге,
в разделе «стиль и дизайн»).
Заранее приготовленный метилпропоксибензол
раствори в иприте и немедленно пропитай
полученной смесью тушки сушёных шмелей
(их раздают в отделениях коричневого креста
по предъявленью свидетельства о рождении на земле).
После на почте получи перевод в двести мелких куниц
и выпусти их на улицу —
пусть приближают обещанный всем пиздец.
Сам же, перекрестившись живою мышью, смотри,

как всё, что случилось, делится тут же на три
случайные части,
но лишь с тем остатком, внутри
которого сам ты исчислен и найден пустым творцом
этого мира перед его концом.

Экономика кризиса перепроизводства

Объём производимой пустоты
в две тысячи десятом вырос вдвое.
Наш рынок переполнен.
                От партнёров
мы слышим только рассужденья о
грядущем расширении продаж
на рынки Африки, Индокитая
и в странах БРИК и членов МАГАТЭ —
и никаких конкретно предложений.
Что это? Саботаж? Нерасторопность?
Страх инноваций? Или менеджерский пул
совсем проигнорировал решенья
февральского совета
акционеров? Так?
           Тогда пускай
им в твиттере зарплату выдают
с корпоративным бонусом ежеквартально.

Вчера рванула шахта на Ямале,
та самая, открытая на пасху
в двухтысячном на ссуду центробанка.
Она давала шесть — нет, вру — семь тысяч
четыреста кубометров руды
за смену,
     это если не считать
вторичной горловины, где работа
не прекращалась даже после взрыва.

Такой руды нигде нет больше в мире —
насыщена отборной пустотой
настолько, что и самый мощный лазер
в ней растворялся, как пацан, не в силах
преодолеть пустотность вещества.
Бывало, только к штольне подойдёшь,
и тут же в ноздри бьёт тончайший запах,
очищенной шуньяты аромат,

и в этих испареньях исчезает
весь мир, рожденный из небытия,
от карликовой каменной берёзки
до Андромеды дымчатой на горизонте.
Прекрасная порода,
не то что грязный йеменский песочек
или эстонский бурый ацетон.

Теперь по производству:
все мощностя уходят в пустоту.
Пустохранилища на Сахалине,
которые нам — если кто забыл —
в аренду сдали лишь на восемь лет,
а также волжские резервуары
в Саратове, заполнены на девяносто
один процент, а добыча растёт.
И вся структура финансирования
направлена на расширенье базы
первичного сырья,
            а где контракты?
За прошлый квартал был всего один,
и тот — с Афганистаном.
                Если в этом
нам не удастся выйти на бразильцев,
придётся закрывать южносибирский
и, видимо, карельский комбинат,
а это двести тысяч в общей сумме
рабочих мест, сюжет на НТВ
и паника в бассейне Абакана.

Подумайте, какие перспективы
и сколько тех, кто здесь сейчас сидит
и энгри бёрдс щипает на айпаде,
пойдёт под суд к началу сентября.

Наш рынок переполнен пустотой.
Нам нужно расширяться.
                Все свободны.

+++

Памяти Алексея Сомова

Пророк Мухаммед, прежде чем стать пророком,
долго скитался по берегам Индигирки и её притокам.

Лето он проводил в разведке земных недр,
а зимой постигал, действительно ли Бог щедр.
Геологи щитали Мухаммеда человеком дела,
он не ссал, увидев медведя: как бурого, так и белого.
На вид он был справедлив, а в душе суров.
Фамилия его, запишите, тогда была Иванов.
Однажды он заблудился ночью в горах близ Тарын-Юряха,
дело шло к сентябрю, и у него замёрзла ряха.
К счастью, в ущелье он увидел огонь костра.
Там сидели двое:
один был сон, а вторая — его сестра.
Отогревшись, он рассказал им всё, что узнал о Боге.
«Это несложно, — сказал он. — Бог напоминает в итоге
половое сношение со слоем многолетней мерзлоты.
Собственно, больше не с кем,
и это тоже свидетельство его доброты».
Двое сидели молча, как рис. №1 в главе «Заговор Кассия и Брута».
«Вы же якуты? — спросил Мухаммед. — Да? На лицо как якуты.
Так вот, я пишу книжку, в стихах, увы, названия нет пока,
но я там расскажу, почему мне нравится,
что Бог держит меня за мудака».
После этих слов сон навалился Мухаммеду на плечи,
но пророк (мир ему) подловил его коленом в ебало навстречу,
оторвал ему ухо зубами и с помощью суры «Корова»
сделал с ним то, что вообще-то считается признаком нездоровым.
После, расправившись со сном, он тут же схватил его сестру
и лишил её последней оставшейся девственности,
потому что был тру
и не верил в то, что туземки блюдут чистоту ложа,
тем паче что на якутку она и не слишком была похожа.
Ночь, соответственно, прошла жарче, чем это бывает в сентябре,
и едва показалось солнце, на самой высокой горе
он вспорол ей горло при помощи ножа консервного,
во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного.

Краткая история Золотого Века

Бог Бил адама с носка кованым сапогом по лицу,
Рвал ему волосы до кровавых слёз и Размазывал их по лицу,
Катал в говне среди чёрных трав, и говно текло по лицу,
Он Брал обожжённый кирпич и Гасил адама им по лицу.

Он Говорил: ну что, мясо, теперь завидуешь Мне, Творцу?
Я Раздавлю этот мир в вонючие нижние воды, а ты их пей.
Я Насадил этот рай для того, чтобы ты работал в Моих садах,
ты компост для Моих ебучих фиалок, заруби себе на соплях.

Бог Хватал еву за щиколки и Разводил ей ляжки вхруст,
Он Смотрел, как ссалась она от страха, и локтем Хуячил её в живот,
Он Говорил: как прекрасен, звезда Моя, хрип твоих вспененных уст,
Он Говорил и железным членом Месил ей беззубый рот.

После, решив опочить от дел, Он Сказал им: идите вон, козлы,
здесь вам не рады, здесь отныне заповедник, режим и благодать.
Во го́внах вы будете жить века, потомушто, йопта, лукавы и злы,
а вон тому коню с мачете лично Велено вас не пущать.

Теперь, в краю белоглазых волчцов, перед ними туча седой земли,
рассыпается небо на ястребов и на сов,
губы его и груди её в пыли.
Кто-то вдали примерещится к вечеру, распугает окрестных псов,
вода на засов закрыта,
по тьме пространства блуждающие патрули.

Она говорит: их тысячи впереди, во тьме умирающих без конца,
если бы дождь утопил нас, если бы ветер нас стёр с лица.
Он держит её обгоревшие руки, он целует её: тише, моя звезда,
мы были в раю, ты помнишь? Она холодея шепчет: Да.

+++

Видим в парке, гуляя, конечно, брусок дворца,
но во дворце наблюдаем рассаду парка, и чтоб
не забыть, упоминаем и то, и другое. И тут силуэт дворца
преобразует в туристов люменотроп.

К ним на шарнире подкатывает Москва:
что в руке, угадай, говорит, кизил спелый до черноты.
Как это, отвечают, как можно, разве не всё слова?
Не знаю, я никогда не ела, не ешь и ты.

На ветке парка вычернено пальто совы,
запах влажный твой, жгучий, высокий твой цвет, вода.
Два магеллановых облака не сводят глаза с Москвы,
плывут над ней и гадают по ней, куда.

+++

Кентавроведенье. сентябрь.
На парте нарисован куб.
Над ним христос в цепях и розах.
Люсянь галиевна к доске.
Поднявши выю о кентаврах.
Заводит пламенную речь.
Привычно начиная с рильке.
Цитатой о гермафродитах.
И с яростью переходя.
К статистике росконнадзора.
Никто не выучил урок.
Холодный жук лежит на стуле.
Его за лапки ухватив.
Прижми хитиновым покровом.
К щеке товарища по парте.
Пускай узнает что почём.
ЛГ скрипя на половице.
Рукой разглаживает нам.
Своё наглядное пособье.
Кентаврвразрезе. очевидно.
Что перед нами так сказать.
Печальный пасынок природы.
Особо обратим вниманье.
На тазоплечевой сустав.
И восьмикамерное сердце.
Никто его не обращает.
В соседнем ряде ли цзымин.
Из сумки ядерную бомбу.
Достав пытается взорвать.
От излучения айфона.
Опять никто не пострадает.
Опять взорвётся только бомба.
А все отделаются лёгким.
По сообщенью ряда сми.
А то и вовсе не заметят.
Кентавры пялятся в окно.
Неисчислимо. безотрадно.
Парные крупы груди спины.
Их море затопило город.
Все города включая этот.
Всё что находится на карте.
Всё федерального значенья.

Все улицы дворы и парки.
Все зоны отдыха и риска.
Повсюду слышен топот конский.
Дыханье ржанье пот звериный.
Блевота песни стук в окно.
Сквозь щель сентябрьский холодок.
Всосался чтоб лизать колени.
Холодный дождь горизонтальный.
Летит окутавши всю землю.
И оседает на щеках.
Никто не смотрит на часы.
Никто не ждёт звонка.
Семь тысяч лет до перемены.

+++

Пушкену

Адмиралтейский позвоночник,
и безобразный лязг дражеток,
и горький питерский помещик
в шипах и розовом бокале.

На пять часов назначен выстрел.
Давай простимся на прощанье.
Но эта рана так жестока.
Но где такси, я вызвал трижды?

Но что случилося с Невою?
Но это было прошлым летом.
Какое, к чорту, Комарово?
Нет, я не знаю по-вьетнамски.

Пляж тёмный, тёплый, полнолунный.
Наверно, Ницца. Надпись — Ницца.
Вода в широком перелёте
скользит над берегом случайным.

Я доплыву быстрее мысли
к погасшим окнам Марш-о-Флёра,
а ты? Плыви, плыви бродяжка,
чуть-чуть осталось.

Живите кто хотите

Если, допустим, в дом пробралась змея,
лютая тварь, иначе сказать, посланец ада,
тихо ползёт по ковру, как лирическая струя
в творческом наследии Эдуарда Асадова,

за холодильником, ясное дело, находится ягуар,
типичный представитель собственного семейства,
который способен превратить человека в дар
природы, и конечно, пойдёт на это злодейство,

всё это ещё не значит, что стая гиеновидных собак,
под предводительством вожака по кличке Отважный Данко,
будет дни напролёт валяться на коврике, как
какая-то авиньонская куртизанка.

Стало быть, нужно ждать того, что придут слоны,
о чьих намереньях, полагаем, догадаться не трудно,
и если наши предположения в целом верны,
унынье вечерней ванны скрасит общество барракуды.

Впрочем, не стоит зацикливаться на иксодовых клещах,
когда есть кубомедузы, и слава богу,
что тот, кто их создал, заботился о мелочах,
которых, в известном смысле, никогда не бывает много.

И пусть из нас те, кто замечен в сговоре со
стаей выдр, потрошащих добычу в синхронном танце,
сами натянут себе на шею лассо,
доказывая существование выхода из ситуации.

Ладно бы это действительно были последние дни,
можно было бы возразить, дескать, что тут такого,
а если всё дело в птицах, то вот они:
дронт, микрораптор и каменный страус моа.

+++

Я хотел бы работать в газете «Правда»
летом тридцать шестого года.
Стояла жара. Спела славная жатва.
Неистребимо сияло в небе счастье народа.

Гремящею улицей я спускался бы к миру,
как к щенку, подставляя ему ладони,

и, как общественник въезжает в пустую квартиру,
находил бы себе основанья в истине и законе.

О, советская интеллигенция в цвету лилейном!
Труд твой подобен богов полуденной грёзе.
Между орденом и краснознамённым портвейном
ты избываешь дни в их хрупком наркозе.

Мы с тобою воспели б дымящиеся бараки,
сердце колхозное в жаркой мясной давильне
и как из земли, воскресшей на крупном страхе,
подымают мёртвых джазмены из Мосфильма.

«Правду» свернув, как свиток, я заходил бы
в просторный храм Спаса-на-Динамите.
И пусть с иконы, в сияньи серпа и нимба,
ко мне сошёл бы всесоюзный спаситель,

а когда бы я разжигал газету
перед ликом Господа, он бы спросил бледнея:
не силою ли Веельзевула ты делаешь это?
И я бы вздохнув ответил: ею.

+++

На лошадь спокойно садится седок
и такую он речь говорит:
Послушай! поедем сейчас на восток,
где крестьянки прелестны на вид.

Но лошадь, подумав, ответила: чья
бы корова мычала, минхерц.
Ужель не оставил ты в спальне своей
штук пятнадцать прекрасных девиц?

Ты право, животное, молвит седок,
но тогда мы поедем на юг!
Где в битве за вражеский бурый острог
мы лишимся и ног, и рук!

Заржало копытное: о господин,
ты и вправду глупее коня.
Чтоб лишиться чего-то, им нужно владеть,
а владеешь ты только мной.

На запад! воскликнул упрямый герой.
Там богатство в труде обретём!
Я лавку открою на пару с тобой

и начну торговать
конём.

Безумство безумных, промолвил скакун,
я воспеть не смогу никогда.
Хоть тысячу раз ты меня продай,
но ведь купят в итоге — тебя.

Задумчиво всадник молчит в тишине,
молчит, молчит и молчит.
В далёком небе, в пустынном сне
задумчивый север горит.

Тысячу лет — ни ночи, ни дня.
Поворотить бы вспять.
Но нет ни всадника, ни коня,
и не о ком вспоминать.

+++

Когда с вершинки О слетает лист,
тот воздух будет безымянно чист,
тот город будет битум и асбест,
тот гость заходит,

не сняв с плечей камзол, коленный вал:
Давай, ты будешь тихо умирал,
а я как будто вицеадмирал
с одним, как Один,

зрачком. Прошли по комнате круги.
Давай, ты будешь боже помоги,
а я внезапный шорох и враги.
Кругообразно

шёл ветхий шум под лунной бечевой,
и он стоял опрично, как живой,
и говорил, и верил в голос свой,
но всё напрасно.

Зима следила изо всех щелей
за волнами воздушных кораблей,
и подымалась об одном крыле
чужая птица,

похожая на букву я живу.
Тот гость сказал: Сегодня наяву

я завершу последнюю главу
пустой страницей.

И рыхлый лёд по четырём углам
запенился в ответ его словам,
как будто тоже что-то узнавал
за сонным вздором.

Сталь божьих кораблей, могучий хлыст
по чёрным окнам, треснувшим окрест,
и был покинут, холоден и чист
пустынный город.

Заблудившийся сталинобус

Ехал сталинобус ой да по Сталинграду,
эх, по Сталинграду ехал, твою мать.
Пули вместо окон, а двери, как приклады,
да колёса-зори — синяя печать.

Сел водило пьяным, а сейчас тверёзый,
в чёрной гимнастёрке красный огурец,
говорит фамилью, да непонятно с голоса:
днём — товарищ Сеятель, а ночью — Жнец.

Говорит безгубо, на скуле багрянцы,
протекает оловом в рыхлую сурьму:
«Следущая станция — станция Подстанция,
приготовься к выходу по одному.

Что ты смотришь, сука? Что ты, сука, хочешь?
Выну из штанины ежовый пистолет —
я хуяк сиротский, меня не ухлопочешь,
мама моя родина, а папы в меня нет».

Едет сталинобус, ленты вьются следом,
ласточки в зените да, бля, фашиста бьют,
мчится сталинобус, впереди победа,
пассажиры мёртвые песни поют.

Зима

Зима пришла в родные воды,
пропащий сад оледенел,

пропали птицы и сознанье,
ушёл автобус навсегда.

В Покровском видели несчастье:
свинцовый куб был сброшен вниз —
бессчётны жертвы, дым тоскливый,
проспали в лагерь ты и я.

А там готовилось навеки,
чтоб смерть, как душу, превзойти,
запретный вечер, чай лимонный
и дружбы край, и хлад миров.

+++

Мостик над спицей склонился,
льётся влажной пыльцою.
Кто, по нему пробегающий,
ты — человек или царство?

Нету у господа псицы,
за беглецом не погонится,
не станет царственной ясностью —
всё, наконец, потеряется.

Дни Вероны

Над нашими холмами идут, идут,
вслепую вывернув наружу кладку,
разорванные бомбами кривыми,
ножами корабельными в растворе.

Зачем же мир над нашими холмами?
Пускай и дальше тлели бы ракеты,
пускай с ума сходили по созвездьям,
но мира не терпели пустоправно.

Идут, идут растерзанным собором.
Зачем я верил богу неживому?
Пускай ломает ветер сад настольный,
сейчас ломает, завтра будет поздно.

Их портики наследуют увечье,
из псиных морд их купола сложились.

Зачем давить катком узорны тени?
Всё сожжено над нашими холмами.

+++

Слепой, прикинувшийся классиком
русской литературы,
неуклюже подбирает с грунтовки гильзу,
нюхает её,
приставляет к губам,
будто хочет свистнуть.
Она горячая,
пахнет полуденным солнцем.
Точно так же пахнет трава или хлеб,
ночной ветер с юга тем же запахом веет,
так пахнет земля,
и к рукам его
этот запах прирос с рождения.
Рядом с полдюжины детей
роются в брошенном окопе,
хрипловатые голоса их,
подобно глухому треску горящего леса,
тонут в упругом звоне летней степи,
среди недоступной жизни,
знающей лишь череду тьмы и света.
Заметив слепого,
они по одному выскакивают наверх,
медленно окружают его,
подталкивая друг друга неуверенными смешками.
Всё начинается с тычка в спину.
Затем, кто поопытней, коротко бьёт под рёбра
острым детским кулаком.
Удар случайной палкой по колену
заставляет слепого вскрикнуть.
Тут же старший шарится по карманам,
выбрасывая на дорогу мелочь, таблетки и паспорт.
Баллончиком с краской
на спине ему рисуют свастику,
и пока он,
громко дыша, вертит головой,
пытаясь понять, прошла ли угроза,
двое уже нашли подходящие камни

и стоят чуть поодаль,
примеряясь к свежей мишени.
Меткость — отличное качество.
Издавна
меткое слово ценилось в народе.
Описания природы у Тургенева
поражают
исключительной меткостью наблюдений.
Чеховские характеры обычно
метко схвачены
той или иной деталью.
Редко да метко.
Раз да горазд.
Пацаны, отвяньте от инвалида.
Чему вас, сука, только в школе учат?
Нельзя же так
с писателем,
дети.

+++

Духовный человек стоял на плотском
и голову его духовным каблуком
к асфальту прижимал,
покамест тот в обличье скотском
ничком
о боге рассуждал.

Ты видишь, бог-отец
тебя родил в череповец.
Ты сын ему, хотя подлец.

Духовный человек, сойдя с живого трупа,
своей дорогой поспешил,
и труп, расправив речь
и усмехнувшись скупо,
сказал: зато я жил.

+++

Беглый снег случайно остановлен
у микрорайона шестьсот два,

где под каждой кровлей
между спящих гнёзд летит сова.

Тёплый, словно был слюной янтарной,
снег стоит, растерян, вдалеке —
перед вырванной, нетварной,
ни в одном не отразившейся зрачке.

Нас, конечно, поразит, зачем бы
он остановился здесь, в аду,
пойман тьмою невечерней,
не имеющей числа в году?

Как пленителен микрорайон бы ни был,
всё же этот снег обещан был другим
и пройдёт, укрыв беспамятною глыбой
Будапешт или, допустим, Рим.

+++

Отверстие долины эс-дробь-тэ к югу отсюда,
диаметр мнимый, на глаз воспринимается как щелчок,
проекционные контуры смазаны, видно,
что правили уже после того, как эллипсограф закончил работу.
Здесь продолжено рощей, но сверху
изометрически линии сходятся в полупрямую,
достаточно свободную, чтобы служить примечанием
к остановленному желанию.
Согласно последнему,
рассыпается поезд,
две женщины стоят на потемневшей платформе, отражаясь в стеклянной
стене кафе, электрический блеск отделяет
их от горбатого облака пыли, скользящего по рельсам.
Отвлекаясь, заметим:
много кто слишком большие надежды возлагал на
гипнотические локусы анафоры в собственной речи,
следовал им, движимый очевидностью лучшего
или, как в оригинале, второго почина,
считал ответом, меж тем как с назидательностью геометрии
это был лишь запасный путь, план
на случай провала. Всё
следует утверждённому сценарию, не считаясь
с тем, что он безответен любым вопрошаниям.
Как будто внезапный смерч,

разрывающий воздух взят
мимо двух женских криков посреди крошащейся породы
в состав ближнего мира и прибудет по расписанию.
Их страх, их неверие,
их куриное мясо в белёсых пакетах,
треск их волос, секущий зенит, как рабочую плоскость.

+++

Да знаю я, как строятся
эти руины.
Сначала из-под ног крадётся земля,
затем в щели воздуха
закачивают бетонную смесь
и долго молотят огнём
по щербатой кромке.
Утром приезжает заказчик,
ему зябко, он жмётся в пальто,
как лягушка,
и сквозь тонкую кожу его лица
восходят колонны, не тронутые
ни секундою времени.

+++

Нашего патриарха отправили в космос,
говорит богомолка в сиреневом платке.
Был он подобен тростинке надломленной,
ходил на цыпочках, как невесомый,
говорил только шёпотом, даже с амвона,
чтобы ни в ком не будить годзиллу,
ел только воздух, не солил даже,
молился о здравии цихлид и ракушек.
Звери закатали его в консерву, как мойву,
ироды сказали «сиди и не суйся»,
запустили на свою орбиту —
теперь он в небе, как какая-то небыль.
Богомолка грозит кулаком в пространство:
говорят, там скорость сто миллионов
и почти нет воздуха,

он, наверное, голодает.
Будьте, пожалуйста, прокляты, суки.
Её взгляд то и дело подымается к небу —
родине страха, темнице надежды, чёрной
заре безотцовства.

+++

Гилянские ковры на рынке Абомея
торгуются на вес по цене мяса ласточек;
высокие люди севера молчаливо
расстилают их до рассвета на камни,
чтобы роса, напитав, сделала их тяжелее.
К полудню торговля сворачивается. Сонные
женщины стоят, как одинокие деревья,
на рыночной площади; в их тонкой тени
пережидают зной муравьи с медными глазами.
Вдруг крик: «Иди!» — и от стены раскалённой земли
отделяется тот, к кому он был обращён,
второй и третий. К вечеру уже разнолицые
толпы слоняются по ветру, расчертившему
красную тьму на фигурки людей и верблюдов.
Кричит петух. Дольняя мгла распаляется
сотней костров, песен, чертей и выстрелов,
как в разломленном надвое ядовитом жуке,
из которого жизни некуда больше скрыться
и чьи ноготочные внутренности — красные,
жёлтые, бирюзовые — рассеяны нервными
хлопьями звёзд, холодящих крыши из глины.
В глиняном платье, просвечивая углями плясок,
серой и кровью, незаметно приблизившись,
она вырастает прозрачной скалой из земли.
«Ночь за ничто», — говорит, перевирая отдалённую
песню. — «Ночь за ничто» — «Тебя как зовут-то?» —
«Суви», — отвечает она, и это значит звезда.

+++

Хороши у мёртвого в саду
яблоки в пару медовом,

мимо стен, сквозь влажную слюду
глянут и зарёю вспыхнут снова.
Под листвою проросли следы
к неизвестному соцветью;
мимо — шорох роющей воды…

Будто рассечённый плетью дым,
он выходит из-за двери
и гадает по плодам своим,
кто он был, когда уснул под вечер,
глядя на добравший цвету сад:
не творец ему, не брат,
не спаситель, вышедший навстречу.

Copyleft — Олег Петров. Email: overbottom@gmail.com
Распространяется свободно.